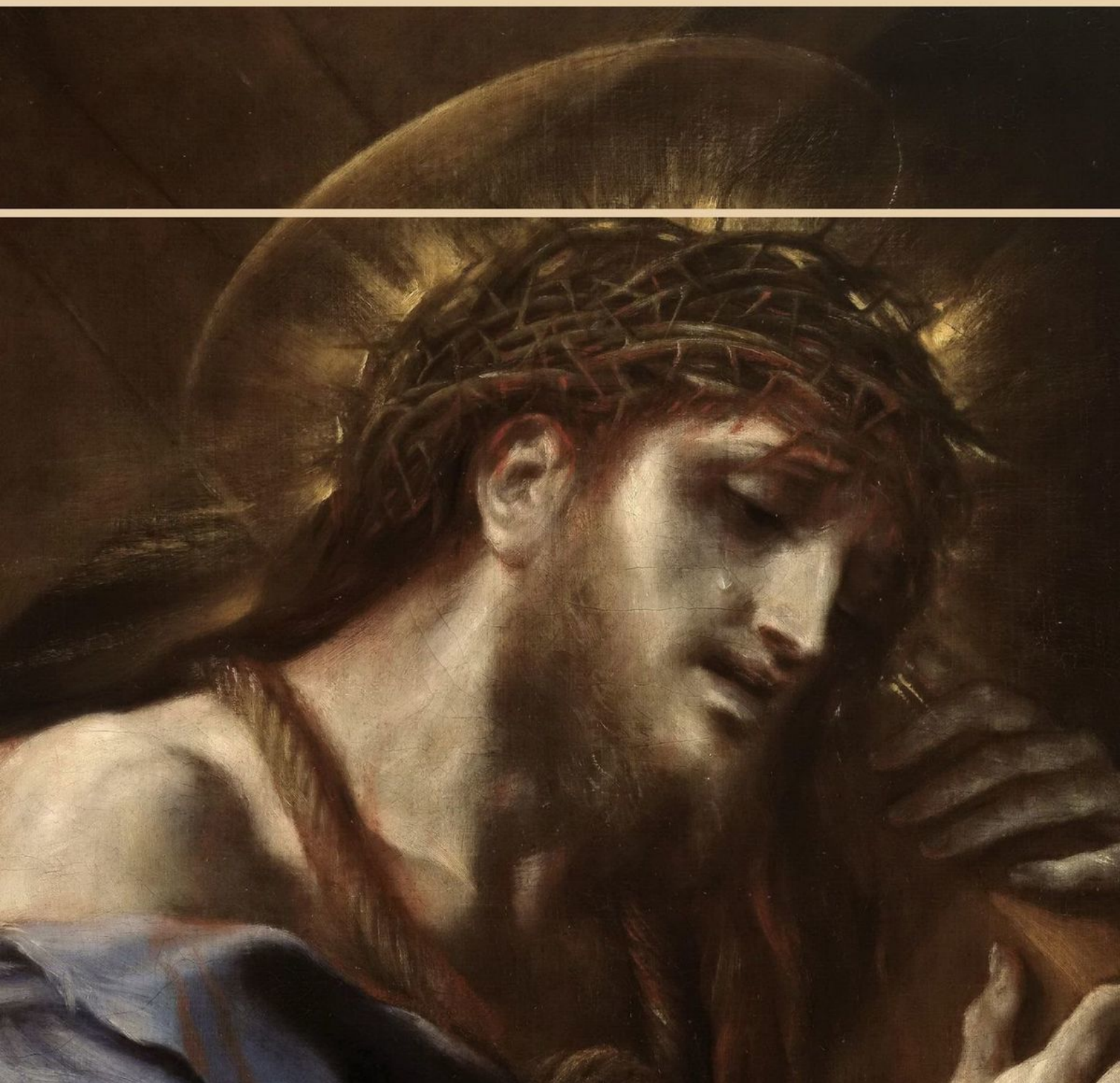


Алексей Яковлев

Ипохондрия life



Алексей Яковлев

Ипохондрия life

«Издательские решения»

Яковлев А.

Ипохондрия life / А. Яковлев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834804-4

Лирико-депрессивный роман о живописи и поэзии, жажде самовыражения через искусство, поисках смысла жизни, любви и одиночестве, предчувствии смерти и безысходности. Главные герои романа каждый по-своему пытаются найти выход из трагического круга, обрести хрупкое равновесие, однако, как предрекает нам эпитафия к роману словами песни Егора Летова «...в пламени бродя нет».

ISBN 978-5-44-834804-4

© Яковлев А.

© Издательские решения

Содержание

Подлинное имя твоё...	6
Предисловие к роману	7
Часть I. Дудерштадт	10
Часть II. Вероника	14
Камелопардовая глава	36
Часть I. Анна смотрит на «Кресты»...	36
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Ипохондрия life

Алексей Яковлев

*Значит, как всегда —
В пламени брода нет.
Летов Е.*

© Алексей Яковлев, 2019

ISBN 978-5-4483-4804-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Подлинное имя твое...

«Скажи нам, мучительница всех людей, купившая всех золотом ненасытной алчности: как нашла ты вход в нас? Вошедши, что обыкновенно производишь? И каким образом ты выходишь из нас?»

Она же, раздражившись от сих досад, яростно и свирепо отвечает нам: «Почто вы, мне повинные, биете меня досаждениями? И как вы покушаетесь освободиться от меня, когда я естеством связана с вами. Дверь, которую я вхожу, есть свойство сней, а причина моей ненасытности – привычка; основание же моей страсти – долговременный навык, бесчувствие души и забвение смерти. И как вы ищите знать имена исчадий моих? Изочту их, и паче песка умножатся. Но узнайте, по крайней мере, какие имена моих первенцев и самых любезных исчадий моих. Первородный сын мой есть блуд, а второе после него исчадие – ожесточение сердца. Третье же – сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неведомых и неизреченных нечистот от меня происходят. Дщери мои суть: леность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прекословие, жестоковийность, непослушание, бесчувственность, пленение ума, самохвальство, наглость, любовь к миру, за которою следует оскверненная молитва, парение помыслов и нечаянные и внезапные злоклучения; а за ними следует отчаяние, – самая лютая из всех страстей. Память согрешений воюет против меня. Помышление о смерти сильно враждует против меня. Но нет ничего в человеках, чтобы могло меня совершенно упразднить».

Преподобный Иоанн Лествичник «Лествица или Скрижали духовные»

Предисловие к роману

Шел молчаливый осенний дождь, опустошающий, пронизывающий одежды, скорбный полутора тысячетелтый вавилонский ливень. Опадал древорукий, склонившийся над землей восьмидесятилетний вердепешевотелый ильм. Горький плач синеокой красавицы Loreley разливался надрывным *staccato*¹ над темной рейнской волной...

Прелюдия. *Introductio*². Лирические образы впотьмах моих сокровенных заброшенных, необнаруженных и оставшихся неизвестными гробниц. Однако замочные скважины – всеобъемлющие, всепожиряющие, искушенные тайной аргусовы³ глазницы открывают уже седую млечную панораму моего отшельничества: заколоченные и оставшиеся неубранными позабытые комнаты – покои скитянина, что подобны мастерской каменотеса или лавке антиквара-книготорговца с паутиной под потолком и своим закованным в хитиновый панцирь ликозида хитроумным восьмиглазым создателем на восьмилапых корточках, примостившимся в углу в доме с балконом в белую, прозрачную Санкт-Петербургскую не покрытую тюлевой занавесью ночь.

Здесь посреди осевшей плотным слоем пыли и вечного хаотического беспорядка медленно движется пытливая согбенная тень, чьи причудливые старомодные ужимки отнюдь... Впрочем, перед вами – сам *Auctor*⁴!

*Lectori benevolo saluteum*⁵!

И продолжение *excursio*⁶: извилистые, лабиринтообразные коридоры, анфилады, галереи, одни за другими без труда отпираемые покои и залы, полные бесчувственных скульптур, пилястр, стройных мраморных колонн, суроволиких атлантов и полуобнаженных кариатид. Орнаментальные гобелены на стенах, двери в искрящемся агате, сосуды из яшмы, янтарного цвета мебель из лимонного дерева, стеллажи с инкрустацией из слоновой кости.

Священные манускрипты и пергаменты из телячьей кожи, ценнейшие антикварные книги, родина коих Тюбинген и Бремен, сочинения оружейников из города Льежа, книги святого Иеронима, исписанные стихами без авторства, выцветшие тетради, карты звездного неба и диковинные тексты на табличках из глины, персидский ковер и солнечный календарь ацтеков, образцы провансальской поэзии, каллиграфия арабских мудрецов, книги, украшенные виньетками, египетские папирусы, труды древних греков, старинный бревиарий, часослов, толстобокые тома, коих число мне доподлинно неизвестно.

Вещи претенциозно разбросаны, настезь раскрыты ящики столов и комодов, откуда уже с задумчивым злорадством и ехидным смешком, эхо которого гуляет под антаблементами, лезут скользкие тела саморожденных в тяжком мытарстве мыслей...

Происхождение. Бессмысленная, иррациональная эволюция в себе. Бесплодный, бестелесный, незрячий, не обретший форм и одежд, неприкрытый, нагой, еще утробный миф. Легкая гарцующая выдумка в летнем переливе стрекозых крыл. Осторожное складывание ровных неустойчивых монетных столбиков, хрупких спичечных конструкций, карточных домиков на пленэре, на воздухе, на порывистом ветру.

Иллюзия света и тени, голодная до рождения перспектива в мглистых театральных ложах височных долей головного мозга, на будничных проспектах под ламповым светодиффузором,

¹ Оторванный, отделённый (итал.) – музыкальный штрих, предписывающий исполнять звуки отрывисто, отделяя один от другого паузами.

² Вступление, введение (англ.).

³ Аргусовы глазницы – имеется ввиду Аргус, в древнегреческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле – неусыпный страж.

⁴ Основатель, создатель, творец, виновник (лат.).

⁵ Привет благосклонному читателю (лат.).

⁶ Экскурсия (лат.).

в оглохших туннелях метро, за горячим *arabica* в многолюдном кафе, где от девушек исходит чарующее благоухание *amethyst lalique* и скользят медленные обворожительные улыбки. Изошренная пытка, и на проверенных накрахмаленных манжетах вереницею чернил проступает очередная... *строка*. Непременные и непредсказуемые заметки в блокнот, брошенные в темницу на бессрочное заключение меж клеточных пространств.

Образ. Несомненно, фальсификатор-каллиграф. Дикий самовлюбленный имярек, современник Грегори Лемаршала⁷, покладистый собиратель дневных иллюзий и ночных сновидений. Сосредоточенный и болезненный лик врубелевского демона, не спасенный, склонивший голову осенний Христос Гогена⁸.

Однако наглядность требует непрямого облачения в строгий фрак и цилиндр, либо заставляет надевать кофту фата или чего хуже... Извольте. Рисуя себя углем темными густобровыми штрихами, выводя крупнокулые черты характера, заостренность нервных окончаний, дымчатые линии души, пестрые расщелины внутреннего мира. Теперь лицезрю. Отраженный в зеркале, явленный миру с фальшивой улыбкой и нарочито клееными сальвадорскими усами, в поношенном сюртуке, с портретиком на прикроватной больничной тумбе – фотография в раме с несуществующего зимнего курорта в предсказанной стране с собственноручно сделанной подписью, не выдерживающей никаких гносеологических рассуждений. Шляпа на бок, на висках седина или блики солнца?! На заднем плане исполинские горные хребты и что-то светлое, лучезарное, далекое...

Это ли я? Нетленный, скоропостижно живущий, простодушный до дурноты, громогласно ликующий, искрометный в безумии, Я – Игорь Северянин новый волны, Я – современный Иоанн Слепой Люксембургский. Потирая веки, недоумеваю, все более и более убеждаясь в весьма сомнительной родственной связи с пост-образом напротив. Несмываемая обида! А ежели верить домыслам ученых мужей, даже шимпанзе без труда узнают себя в зеркале. Что же это, злой рок, язвенная болезнь самолюбия?! И все же, чтобы там ни говорили, мое зеркало висит криво.

Наследие. Саркофаги идей, усыпальницы свободолюбивых терзаний, опрометчивые предметы быта, ритуальные сокровища, гадалые камешки, накрываемые приливом и сладострастно дышащие перламутром, истрепанные свитки, глиняные черепки, раскрытые и рассекреченные дивные ларцы со сломанными замками и погруженные в бездремотную тьму неспешно смыкающиеся челюсти мертвоедов. Серые угрюмые плиты дышат могильным холодком, тихонько перебирает лапками усердный скарабей, сторожащий приближение ночи.

Ночь – время откровений. Откровение как истерический полубольной крик в царстве глухонемых. Небрежная мистическая игра фонемами становится дорогим искушением в глянцево-каталоге вечности. Мощеная дорога к инквизиторским заостренным кольям, прогретым дровам и стопроцентному исцелению огнем. На распустье. Пересыльный лагерь под Владивостоком⁹ со стертым именем на могильном камне или крест-кенотаф¹⁰ в долине Лубы, виселица в Елабуге...¹¹

Покорствуя, облакаюсь в санбенито¹² и надеваю карочу¹³. Я признаюсь, что становлюсь смешон в публицистике печальных литературных эпох, где с переизбытком бальзамируют

⁷ Французский певец.

⁸ Имеется ввиду «Жёлтый Христос» (фр. Le Christ jaune) – полотно Поля Гогена.

⁹ Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере Владперпункт (Владивосток).

¹⁰ Имеется ввиду крест-кенотаф в вероятном месте расстрела Гумилёва.

¹¹ Марина Цветаева 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством (повесилась) в доме Бродельниковых в Елабуге, куда вместе с сыном была определена на постой.

¹² Санбенито (исп. Sanbenito, сокращ. Sacco benito) или замарра (Zamarra) – одеяние осужденных инквизицией; сорочка из желтого полотна, разрисованная пламенем и дьяволами, спереди и сзади красный Андреевский крест.

¹³ Кароча (португ. Carocha, испан. Cogoza) – высокая, в виде цилиндра шапка еретиков из бумаги или папки, с изображен-

одряхлевшие тела и погружают в купели седобородых, краснощеких младенцев; где лженаука – утес, на котором алхимики-грифы разбивают о камень скорлупу познания, извлекая во множестве философские камни.

Фантазия как восковая податливость в сумасшедших пальцах, ветхий мох скрипящих на ветру деревьев, затягивающая пустота болотного толлундского эха, которая не спасает, не согревает, и уже не может отпустить...

В пятьдесят я небрежно расписываюсь в подарочных изданиях очередного шедевра, с простительной улыбкой кривя край нижней губы немного набок. В шестьдесят за чашей теплого *cebar el Mate*¹⁴ рассуждаю о бренности бытия, посыпая память лет звездной пылью, и, что непременно, устало смахиваю пепел с долговязой сигареты в сторону, при этом не стесняясь своей откровенной пошлости. В девяносто, на заливке жизни, с утра до ночи валяюсь в постели, жидкотельный, с выступающими ребрами и с пролежнем на пятке, кромсаю мысли и, комкая, бросаю в недра своего померкшего сознания, прибавлю – шамкаю беззубым ртом...

Можно ли вообразить, как в маленьком городском скверике под сенью лип в окружении скамеек и целующихся пар в свои сто пятьдесят с лишком, я каждый день принимаю образ каменного посмешища со сгорбленным носом и непокрытым горизонтальным взглядом, свинцово-зеленокудрый и меднолобый? Немыслимая сцена! И оттого не кажется уже таким вычурным само предопределение судеб в Книге Бытия. Скрижаль морали, доктрины одиночества, пытливая археология в глубинах самосознания и... Ужели слышна моя самоуверенная поступь в немоту, где я, глотая пыль, приоткрываю завесу сомнительного чуда, в котором траурная урна исторгает еще дышащий теплом прах в пучину невесомого вселенского океана, где есть надежда обрести бессмертие на панцире никому не ведомых величественно возлежащих на изумрудном илистом дне на оледенелой глубине во мраке, подводных чудовищ.

Итак...

ными на ней фигурами дьяволов, надевавшаяся во время аутодафе на приговоренных инквизицией к смерти на костре.

¹⁴ Себар эль мате – приготовить йерба мате с соблюдением всех пропорций и последовательностей при приготовлении.

Часть I. Дудерштадт

Дудерштадт, Германия.

Питирим, «Дневник», весна 2012 года.

1

Паводок – эти стремительные талые воды изголодавшейся до нежности и откровенных признаний весны постепенно набирал свою еще неизведанную девственную силу; небо разошлось в стороны кучевыми опаленными облаками, словно края неловко и неискусно ушитой хирургом раны, из зияющей, лишенной таинства покрова пустоты которой уже сочтется сукровица – небесная ледяная пряная опьяняющая влага, крупных капель пронизывающий дождь...

Вставшая и медленно журчащая, и даже рисующая водоворот вода, гладь которой подергивается рябью, пронзительными, будто крик душевнобольного, уколами ливневых нитей, полевитановски живописно окружила еще мертвое уединение лесной (право, подворачивается под руку совсем не по сезону одетое и неуместное «чащи»), и в этой мутной оледенелой жиже неровным переливом гобеленовых гардин бродят опрокинутые верхушки голых ветвей, непроницаемая ситцевая сирень неба.

Эта простодушная зеркальность подняла с собой уродливые коряги, древесные щепки, скованные смертью трупки мелких грызунов, не переживших зимы, хитиновые тельца насекомых самых разнообразных зоологических таксонов – диптер, дермоптер, трихоптер, блаттоптер, *und zusammen mit Ihnen*¹⁵ пожухлые кораблики-листья – *populus tremula*¹⁶, *aesculus hippocastanum*¹⁷, потонувшие собраты которых лежали настилом во глубине; а там, где паводковая сель оказалась особенно озорна, с разворошенных торфяных годами хранивших тайну кладбищ поднялись меднобокие неповоротливые плесневелые *machine infernale*¹⁸ Второй мировой, коими тут же наполнился в районе Бреме-ауэ вплоть до Эклингерда молчаливый заповедный дудерштадский лес, и из него уже глухим бухнувшим хлопком потревоженной и сработавшей мины (если верить местным газетам) донеслось на прошлой неделе скорбное эхо войны...

Когда я вижу уснувший сном, кажущийся мертвым и даже источающий прелый могильный запах весенний нагой лес, ко мне непременно приходят те кажущиеся совершенно противоположными мартовскому пробуждению видения осени: под огненным желтым абажуром ноябрьского солнца моей родины, как сквозь призму балтийского янтарного камня, я различаю отдельные детальки, из которых путем незамысловатых сложений возникает тот самый хроматоскоп, складываются один к одному неровными краями пазлы, из отдельных разноцветных стеклышек-узоров в моем воображении рождается мозаичный витраж-осень – яркий, насыщенный бакановыми, ранжевными и муаровыми тонами нерукотворный мясоедовский лес.

Я шагаю по устланному отсыревшему пологу и прислушиваюсь к звукам: шорох прошлогодней листвы, скрип деревьев, капель – и где-то вдалеке, словно откупоренная бутылка разрушил, повисшее студеное дыхание притаившегося утра (оставшийся в памяти осколок моих осенних этюдов в Дятлово) ружейный выстрел, и поднялась с крохотного болотца прямо на приготовленные двустволки небольшая стайка пролетных вальдшнепов, повеяло запахом

¹⁵ «А вместе с ними» (нем.).

¹⁶ Осина, или осина обыкновенная, или тополь дрожащий (лат.).

¹⁷ Конский каштан обыкновенный (лат.).

¹⁸ Адская машина (фр.).

пороха, и потянулся по ветру легкий пепельный призрак-дымок, вслед за которым булькнули в воду, будто тяжелая опавшая груша, мертвые птицы.

И только я стою в стороне от этого гомона, гогота, неповоротливого, оглушившего самого себя раскатистого эха, от этой неумолкающей какофонии звуков и собачьего лая, протяжных охотничьих рожков, глубоко вдыхаю ароматы осенней глуши – дятловских непроходимых роц и непротоптаных дорожек, а на моем полотнище еще не просохшая краска открылась утренним охотничьим концертом, безукоризненно фальшивым, вымышленным, неопратно и неискусно разодетым в старомодные твидовые пальто, чопорные жокейки и кепи реглан на лондонский манер.

2

Этой весной я часто отправляюсь в еще ночующий, лишь предвкушающий восторженный ликующий рассвет час на утреннюю promenade¹⁹, в то самое время, когда бутоны притихших вечноцветущих растений в моей гостинице в расставленных вазах и кашпо еще не раскрылись и хранят внутри себя тайну, ждущую непрямого раскрытия, обнажения – созерцания и восхищения стороннего случайного наблюдателя и даже вкушения им даруемого цветами чарующего аромата, такой краткой благоухающей хрупкой и нерукотворной красоты.

Я спускаюсь по ступенькам и, открыв дверь, погружаюсь в туманную густую взвесь, и по мере своего движения вперед растворяюсь в ней, как может показаться, совершенно, если только она смотрит мне во след, как мне иногда хочется думать, из окна нашего скромного номера, слегка отогнув в сторону край нежно-дымчатой кофейно-молочной с переливом гардины, хоть я и оставил ее сон не потревоженным, аккуратно отбросив край одеяла, отделив свое тело от ее и нежно шепнув о своей любви, при этом не проронив ни единого звука, дабы не нарушить покоя и не прервать ее очередное путешествие в таинственный фрейдовский мир, и только губами начертав в воздухе эскизы – не озвученные конструкции слов, будто отдав дань памяти великому, но, увы, мертвому ныне немому синематографу.

Воздух очень прохладен, а весенний прелый дурман делает его особенно насыщенным. Меня окутывает сонная медово-смолянистая влага, наполняя легкие дымной теплотой; лес дышит глубоко и тяжело подымает свою грудь, и мне уже чудится потрескивание костра и ликующие язычки пламени, а на местах недавних пожарищ, покачивая седеющей прядью, выпцветает огненная богородицына трава, я вкушаю чудящиеся мне ароматы луговых медоносов, вижу, словно явь, как созревают вересовы шишкоягоды, приобретая августовский черничный оттенок.

Меж тем я отправляюсь к еще голому лесу, хоть он и стоит в воде, кажущийся таким притихшим и даже притаившимся в своей дымчатой, туманной, сигаретной занавеси, которая покрывает его в этот небуженый час. Прогулка занимает у меня около часа, и исправный хронограф отсчитывает в моей голове время на обратный путь, между тем как я сам наслаждаюсь этой целостностью мира, полнотой красок и оттенков, едва заметными очертаниями, первыми проблесками солнечных лучей, студенистостью окружившего меня мгновения. Мой взгляд приметит весь этот калейдоскоп образов и всю эту мелькающую многоцветность и, может быть (безбрежие мысли ведет меня чуть дальше уже прожитых лет), возродит что-нибудь подобное в минуты моей работы в своей мастерской на холсте, и мне будет, быть может, столь же зябко, как и в этот утренний час, от одного только воспоминания об испытанных ощущениях.

Я возвращаюсь в гостиницу достаточно бодрым и, поднимаясь по лестнице, уже предчувствую, что обнаружу ее проснувшейся и, когда, позвякивая ключом, отворю дверь, прак-

¹⁹ Прогулка (фр.).

тически сразу увижу ее стоящей у окна в светлой ночной сорочке и бесподобной (и от того кажущейся гениальной) задумчивости.

Она оборачивается ко мне, и я вновь вижу ее улыбку, в которую влюблен многие годы, но жду, не смея сделать очередного шага, когда она произнесет:

– Доброе утро, мой милый! Ты был на прогулке? А я только встала. Как погода, по-моему, утро чудесное?! Я только соберусь, и идем завтракать.

Я остаюсь еще неподвижный, зачарованный ее грациозностью, ее голосом, ее красотой, с какой-то нерешительной нежностью уже пытаюсь сделать шаг ей на встречу и в это самое мгновение с понятным только мне да моему собрату российским наслаждением обнаруживаю непонятно откуда взявшиеся впившиеся хватко и глубоко колючки обыкновенного почернелого прошлогоднего чертополоха на лацкане своего пиджака.

3

В этот год мы остановились с Альбиной в Дудерштадте на Bischof-Janssen-Straße, 1 в отеле Ferienparadies Pferdeberg на одноименной горе Пфердеберг. Этот небольшой, но уютный городок приглянулся нам еще три года тому назад, когда мы были здесь на этюдах.

Черепичные крыши домов, готическая архитектура, мощенные булыжником площади и покатыстые дорожки, вдоль которых неповоротливыми рядами выстроились дома в стиле fachwerk, и на этих самых улочках в момент замирающего времени, бросив взгляд в пустоту оголенного ламповым фонарным светом переулка, можно как будто различить поспешно шагающего Гете, заночевавшего в Дудерштадте во время своего переезда до Мюльхаузена в ночь с тринадцатого на четырнадцатое декабря 1777 года.

Жизнь кажется какой-то неспешной, легкой, и даже порой рождается в глубине моего сознания нетрезвое суждение или предчувствие бесконечности бытия, когда мы с Альбиной сидим весенним теплым днем за крошечным деревянным столиком на Ebergötzen под сенью платанов напротив ernsting's famiy, и табличка с силуэтом велосипеда напоминает нам, что до горы Пфедерберг всего 3,9 километра.

Фасады в светло-зеленые, сиреневые, темно-синие, красно-кирпичные, черные прямоугольники и перекрестья по обе стороны мощеной улицы, а чуть дальше силуэты башен Дудерштадского кафедрального собора, перед которым с 1997 года расположился фонтан с причудливыми скульптурами зверей: лев и львица, кабан и орел с гербом и державой, в сторону которого уже нацелилась лучница. А совсем рядом с ним диковинный дом с резной дверью и расписными фасадами, и из окон второго этажа смотрят многочисленные цветы, среди которых настурции, фиалки, маттиолы, герани, а на лицевой стороне красный герб с изображением белой лошади, вставшей на дыбы, и рядом загадочная надпись: «NOTAR». От этого дома веет радостью и уютом, и мы неизменно проходим с Алей мимо после нашего легкого обеда и кофе под прохладой платана.

На другой стороне улицы салон эрготерапевта с ностальгическим и бросающимся в глаза символом – скрещение серпа и молота. Но мы идем с Алей дальше нашим привычным маршрутом мимо кафедрального собора, мимо отеля-ресторана Budapest, и весеннее согревающее солнце светит косым веером сквозь кроны высоких деревьев, стоящих вдоль каменных стен кирхи. Мы блуждаем кривыми улочками и выходим к огненно-кирпичному зданию почтамта, следуем мимо кондитерской Risse, скромной лавки букиниста и старейшего из домов Дудерштадта, на котором красуется герб города – два льва на красном фоне и надпись: «Frührenaissance 1595», а рядом по-соседски примостился магазинчик Опперманна и современная студия загара.

Вечером, когда прогулка утомляет нас, мы заходим в пиццерию Giovanni или пьем кофе под навесом в lavazza.

В эти мгновения я думаю о том, как бы провел я этот год и даже многие годы своей жизни, если бы со мной рядом не было *Ее*, что видел бы я в красках окружающего меня и дурманящего своей пестротой и многообразием мира – серость, будничную пустоту, пронзительную и скоропостижную бездну? И кто бы знал, как быстро я бы добрался до своего дна?

Я обращаюсь к своим воспоминаниям с каким-то необъяснимым чувством пугливого любопытства, навеянного, верно, страхом очередной потери и вместе с тем неиссякаемой надеждой на милосердие судьбы. В моих руках оказывается причудливый калейдоскоп событий, и я раскладываю его, бережно сопоставляя грани (рифмы архимедовой поэзии – геометрии), хоть и, признаюсь себе, без фальшивой надежды и даже с моей стороны поползновения восстановить доподлинно всю хронологию повествования...

Часть II. Вероника

Санкт-Петербург, Россия, осень–зима 2007 года.

1

Ночь заплесневела, как добрый *Roquefort*²⁰. Мертвая оса покоилась меж оконных рам. Тяжелая лоснящаяся бирюзовым малахитом портьера скрывала нехитрую тайну. На циферблате часов было давно за полночь. Восковое оцепенение объяло пространство.

Вероника в грациозной задумчивости сидит за старомодным потертым столом, сложив оголенные руки на коленях, неестественно (и даже чересчур) вывернув локти. Неподвижна. Недоступна. Непостижима. Исполнена почти бездыханной, безжизненной неги. Ее плечи, не таясь нежности, покрывает легкий лазоревый плед. По бледному лицу девушки украдкой скользят робкие болезненные тени. Русые волосы свободно огибают изящную шею, а глаза полны сверкающим магическим дымом многогранного раухтопаза и хрустальной полыней застывших слез, отчего взгляд ее кажется немного пьяным и притягивающим. Ее светлый лик подобен чудотворной иконе. Едва заметна влага на щеках (и кто-то непременно восклицает о святом мироточении); Вероника печальна, холодна, величественна и, разумеется, слегка безумна. Невидимый, обреченно влюбленный и остающийся *incognitus*²¹ художник зачарованно пишет с нее портрет.

Комната наполнена горелым ароматом можжевельного лета. И уже, с сакральным трепетом, неспешно читая по губам, сквозь горький лимонный коктейль угадываешь красный сандал, плакучий кипарис, пряный (бурый цветом и рождественский настроением) оттенок жареного парижского каштана, елейное масло, дурманящий корень таинственной мандрагоры, ладан, едва различимую дику гвоздику.

Кленовый лист, порхнув из темноты подобно птице, на мгновение жадно прижимается к стеклу и что-то неразборчиво шепчет, будто продрогший нищий на паперти, или целомудренная дева под церковными сводами, или влюбленный юноша, нежно прижимающий возлюбленную. Подчиняясь порывам ветра, судорожно содрогаясь в непрерывной эпилептической конвульсии, он безвозвратно плывет в пустоту...

Косыми строками припозднившийся октябрьский ливень пишет на оконном стекле о неразделенной любви, о чьих-то потерях, о несбывшихся надеждах, об утраченных чувствах. А за окном угрюмо шагает одуревшая от неизлечимой тоски осень. Осень предпочитает пастельные тона: алебастр, бизон, багрянец и пахнущий в цветенье апельсином жонкиль. Хрупкие мечты, пестрая печаль, разлука.

Чужое равнодушие съедает воздух, отравляет пищу, отнимает небо. Казавшаяся бесконечной вселенная внезапно и неумолимо сужается до размера небольшой, неказистой, ставшей такой привычно-ненавистой комнаты, в которой все, к чему ни прикоснешься, бесполезно, безжизненно и искусственно, и, что пугает более всего, тленно. Все остальное исчезло, растворилось, разлетелось пеплом, повисло лохмотьями, обсело пылью, потускнело и навсегда потеряло цвет. Мир стал настоящим, таким, каким он никогда прежде не был...

Осенние птицы безмолвствуют, литыми призраками существуя по ту сторону жизни, повиснув на электропроводах и окаменело уткнувшись в ночь.

В невидимой игре изломанных, кривых, изогнутых, перечеркнутых, связанных, переплетенных, искаженных, параллельных и расходящихся линий замыкается обреченный круг.

²⁰ Рокфёр (фр. Roquefort) – сорт французского сыра, относящийся к голубым сырам.

²¹ Инкогнито, неизвестный (лат.).

Вероника не сводит глаз со стола. В комнате очень душно и неудобно, и более всего давят стены. Слегка дурманит от плавящегося масла – письма, напоминания, запахи из приговоренного погибнуть и уже поблекшего красками лета, мысленно догорающие на ласковом лепестке огня, опрокинутой восковой свечи и в груди каминных углей, и во чреве чугунной печки, из которого удушливо тянет медово-смолянистой обжигающей влагой и привкусом еловой коры. Воспоминания будоражат в любом своем проявлении: неосязаемы, не обоняемы, незримы, они пребывают в нас имманентной субстанцией, чья суть неотделима от нашей души...

На столе неподвижно (справедливее – «в немом испуге») лежит лист белой бумаги. Крупная бескомпромиссная, надоедливая и предсказуемая клетка. Все банально и отрететировано, и, казалось бы, совсем не нужны слова. И все же...

Очередная молния, сверкнув своим острым, искусно заточенным лезвием, глубокими лампасными разрезами (непревзойденный анатом) вскрывает небесные покровы. Вероника вздрагивает всем телом, и ее неподвижность рассыпается мраморной пылью в воздухе, потаенные мысли тяжелой скорбью отражаются в карих глазах, в насторожившемся зеркале смолью дрожит силуэт.

Вероника как будто отрешенно смотрит на белый лист, едва заметно шевелятся губы, проговаривая про себя, как заклинание, заученные строки: *«Непостоянный друг печали мимолетной и краткой радости, мечтатель беззаботный, художник любящий равно и мрак и свет...»*²² Стены пугливо прислушиваются к ее дыханию и биению сердца. Частый пульс выдает волнение. Надрывно плачет осенняя ночь.

По стройным улицам уснувшего города уже летят, и кружатся, и падают на землю и темную гладь воды, и покрываются геморрагической пурпурой (неотъемлемый предвестник смерти), и стынут от безысходности опавшие листья. Голые деревья, отдающие все сполна этой осени, жадно цепляются пустыми руками за небо, страдая от надежды, исполненной явного лицемерия. Небо корчится в судорогах, потоком изливая черную болезненную желчь, и тем не менее, не обретая покоя, продолжает свою безостановочную агонию.

Нет успокоения и нет разочарования, нет надежды и нет мечты, нет разлуки и уже нет любви... Любовь, ее окоченевший зачумленный труп гниет в подвалах осени, он обернут багряным саваном позднего октября, от него удушливо тянет влагой, и сыростью дождливых ночей. Любовь... Похороните ее в безликом торфянике, пусть ее поглотит заунывная болотная топь, замогильная невыносимая пустота, пусть тело ее обрастет мхами... Да будет ей успокоение! Что песнь о любви, что слова и признанья?! Все погибло, все искалечено, все потонуло в бессмысленных муках терзаний и унижения. Кто не испытал в любви хоть на мгновение страдания и отчаяния, тот не изведal ее в полной мере, не вкусил ее парализующих ядов, увы, не сошел с ума.

Чувства обостряются. Хочется разбить окно и жадно дышать морем, уйти темным коридором в вечнозеленую кипарисовую рощу, открыть дверь в солнечный день, забраться на крышу дома и хотя бы на одну минуту увидеть не только небо, но и космос.

Вероника с тяжелым скрежетом открывает трудно поддающееся, по обыкновению окно, и комната проваливается в ночную мглу (совсем *«как нос сифилитика»*²³). По металлическому карнизу и ладоням Вероники барабанит безжалостный дождь. С открывшейся улицы доносится пьяная ругань, чей-то громкий нездоровый смех и визгливый женский плач. Слышны лишь отголоски фраз, заглушаемые шумом воды, и где-то угрюмо лают сиротливые собаки.

Холодный воздух поспешно заполняет пространство, проникая во все углы, играет переливом гардин, с лукавой осторожностью дотрагивается до пледа, неловко поднимает краешек

²² Строки из стихотворения В. В. Набокова «Забудешь ты меня...»

²³ «Улица провалилась, как нос сифилитика...» – строка из стихотворения В. В. Маяковского.

листа на столе, и тот трепещет, повинаясь невидимой руке. Капли дождя столь же бесцеремонны, они падают на бумагу, и под ними медленно распухают и расползаются чернила. Луна заглядывает через плечо склонившейся над столом Вероники и поспешно читает, наполняя комнату своим сонным шептанием:

«Мне хочется уйти в эту ночь, чудовищно прекрасную ночь... Все должно закончиться, я должна умереть (зачеркнуто) скончаться. Просто боль стала невыносима, просто от одиночества некуда деться, и нет успокоения. *Говорят, все проходит, кроме одиночества...* Кроме одиночества! Все так лживо, нелепо, бессмысленно стало в одночасье... И с каждым днем все хуже и страшнее. Так странно испытывать страх, так странно свыкаться с мыслью, что ничего уже нельзя вернуть. Да я и не стала бы ради этого хоть что-то делать, все вокруг рухнуло, и с этим приходится смириться; все бесполезно. Я не ищу оправданий, я не ищу виноватых, каждый получает лишь то, что заслужил. Стало быть, и мне по заслугам. Ухожу к мертвецам, хочу уйти в эту ночь.....

Больше писать не могу... и не надо. В окне – ночь, на часах – ночь, что за число сегодня – умирающий октябрь... Прощаюсь»

Дальше пустота...

Ветер усердно обрывает с деревьев листья, наслаждаясь своей неоспоримой властью. Растут и ширятся лужи на земле. Истошенное небо чернеет, будто застывшая кровь.

В пальцах играет мелкая дрожь, и Вероника опасливо кутается в плед, нервно играя светло-голубым переливом приятной на ощупь шелковистой ткани. Из вазы на столе ей горько улыбается засохшая и ставшая мертвенно-вишневой флорибунда. Прятаться нет возможности, ибо символы печали предательски разбросаны по квартире, они висят на стенах и лежат на полу, они громоздятся повсюду и упрямо тычут пальцем в испуганное лицо девушки. Пространство искажается недобрым знаком, кривясь, и гримасничая, и даже, кажется, давась от своего невообразимого гомерического и безобразного хохота. Или все это только иллюзия, психоделический ноктюрн в осенних инсталляциях, и звуки темных улиц нехорошо играют с больным воображением. *Месяц умер...* наваждение.

Надо бы выбежать прочь из комнаты по залитому черничной пеленой коридору. Спасись бегством, пока это еще кажется сносным решением. Но бежать некуда. Помощи ждать не приходится, и потому время прибавляет ходу на циферблате настенных часов, а ночь млеет в непрекращающемся плаче дождя и принимает в себя амальгаму, аметист, гелиотроп, жженую умбру, антрацит, ржавый бистр и миллион иных едва ли угадываемых оттенков.

Осознание неотвратимости уже ощущается под кожей и вселяет неподдельный, сродни первобытному, страх. Фатализм... Неизбежность...

Край.

Стены перешептываются, и монотонно раскачиваются. Что-то тяжелое сдавливает виски и стягивает горло так, что становится трудно дышать. Веронике хочется пить, и она выходит из комнаты. Походка становится какой-то ломаной, и пол под ногами плывет в стороны, чередуя, как в калейдоскопе, квадраты, ромбы и иные геометрически совсем уже сложные фигуры. И что крайне неуместно и более всего неожиданно – где-то звонит телефон (как некстати!). И вновь все оказывается по ту сторону...

Вероника будто и не слышит звонка, еще дрожащими руками она набирает стакан воды и выпивает залпом, после чего, содрогаясь всем телом и шатаясь, возвращается в студеную пустоту комнаты, где в открытое окно видно, как легко ходят иллюзорные морские волны, а где-то в стороне дышит манящая прохладой кипарисовая роща... Хотя, в сущности, ничего этого нет. Асфальтово-металлическая ночь, жирные фиолетовые разводы, и страшный монолитный непрерывный гвалт, который неустанно валит в оконный проем. Где-то вдалеке еще долго не замолкает мучительный, протяжный телефонный звонок...

Медный овал луны скользит по подоконнику. На соседней улице с чудовищным грохотом ковыляет продрогший рельсошлифовальный трамвай. Призрак *Vista de Toledo*²⁴ Эль Греко – массивы из железа и бетона, многоэтажные мифические уроды, жерла фабричных труб, врезающиеся прямо в космос и испускающие свои зловонные яды под оплавившимся грозовым небом, на которое уже легла тяжкая печать апокалипсиса. Ночь окончательно раздавила город.

Вероника затаенно дышит на оконное стекло и рисует на нем, будто ставит клеймо, кривую улыбку. Над ее домом плывет вечность, мириады звезд и иных миров, готовые растаять с приближением дня. Вселенная представляется эфемерностью тяжелых масс. А здесь Вероника созерцает листопад. Бутафорские листья летят мимо окна, и весь двор напоминает камерную сцену театра; декорации бесподобны и так убедительны: продрогшие деревья, сломанные качели, сторбленный от старости турник, несколько автомобилей, тысяча иных мелочей, нагруженных тягучей осенней лирикой с едва уловимым мистическим смыслом. Маленькая грустная пьеса. Bravo режиссеру-постановщику! Впереди заключительный акт!

Вероника слышит, как осенние листья легко опускаются на землю, она чувствует дыхание ветра и задумчиво читает чужие стихи: «*Непостоянный друг...*» Все согласно сценарию.

Невидимый художник очарован, пребывая в благоговейном трепете, он пишет с нее портрет...

2

Призраки одиноко бродили по дому, не произнося ни слова, не отражаясь в зеркалах, не задевая предметов, не развешивая своих потертых одежд под потолком (в насмешку!), не расставляя выцветших черно-белых фотографий, не оставляя несмываемых пятен крови (фарс!), лишь плавно разливаясь по пустым комнатам пепельным туманом и оседая на паркете монотонной металлической тишиной. Все это было уже когда-то и тем не менее повторялось вновь.

Обстановка комнаты была смазана, некие элементы стерты и обезображены, иные трудноразличимы, мебель расставлена как попало и накрыта плотной полиэтиленовой пленкой. Толстый слой пыли, отпечатки пальцев, смешные рисованные рожи... На полу битое стекло, мятые пожелтевшие газетные листы, осколки граммофонных пластинок, кукла с неизменной улыбкой и яркими розовыми, будто чашечка крупного распустившегося пиона, бантами. Углы во мраке. Окна завешены темно-синими шторами наглухо. Освещение тусклое, исходящее непонятно откуда. Воздух отсыревший. Приближение дождя.

Вероника смотрела на себя со стороны – в темном клетчатом платье (воспоминание из детства), с распущенными русыми волосами чуть ниже ключиц (последние лет пять) она сидела на полу, прижавшись спиной к стене с краснокрылыми бабочками, застывшими на обоях (вновь воспоминания...). Напротив в широком кресле сидел высокий мужчина, неподвижно сложив руки на груди. Длинные худые пальцы, белоснежные манжеты, черный фрак, непропорционально выступающий подбородок. Он говорил. Его тягучий раздражающий голос звучал немислимой какофонией звуков, в которой одновременно присутствовали и скрежет мела по школьной доске, и треск электрических проводов, и шум крошащегося пенопласта и что-то еще гулкое и тревожное.

Ощущения всегда состоят из мелких деталей. Вероника знала, что произойдет дальше. Все это было раньше и повторялось вновь. По комнате предсказуемо закишали звуки шаркающих шагов, откуда-то доносился стук капающей воды, кто-то перешептывался в коридорах, кто-то подслушивал, стоя за спиной (прямо из стены, из мглы), что-то надоедливо дребезжало совсем рядом.

²⁴ «Вид Толедо» (исп. *Vista de Toledo*) – картина знаменитого испанского художника Эль Греко.

Вероника ощущала, как шумно стучало ее сердце (чуть чаще, чем обычно), очень сильно сушило горло, кто-то кашлял совсем близко (и это было ново), ощущался запах свежей краски, как это бывает в художественных мастерских, и еще какой-то странный подкисленный едкий запах, как в аптеках. Вероника закрыла лицо руками и заплакала от ощущения безнадежности, и еще хотелось не видеть и не слышать человека напротив. Но он продолжал говорить, и до Вероники все время долетали обрывки фраз, которые мужчина в черном, казалось бы, небрежно сплевывал на пол перед собой.

– Тебе тоже холодно... Но ничего этого не может повториться... Посмотри на руки – откуда это... Мы не можем уйти и не вернуться... Надо открыть окна... Кто-то проник в твое сердце... Никогда. *«Никогда, никогда, никогда»* – донеслось эхом со всех сторон.

Теперь все закружилось, и Вероника поняла, что утратила контроль над происходящим. Перед глазами замелькали белые бинты, на отливающем гляncем кафельном полу рассыпались пунцовые осенние листья, комната наполнилась гвалтом, топотом, неприятно распухали, становясь бесформенными и нечувствительными, пальцы рук, что-то давило в области сердца, стены поплыли в стороны. Вероника почувствовала, что она куда-то проваливается. Мужчина легко поднялся с кресла и стал медленно наклоняться ближе к Веронике; комната исчезла, потолок почернел, став небом, лишенным луны и звезд, пространство вокруг росло с угрожающей скоростью и постоянством. Дрожь бежала по спине. Позади поднялось что-то темное, многократно удесятирилось, заполнило собой все, объяло и поглотило Веронику, с силой прижало грудь, вонзилось под лопатки, надавило в области живота, крепко стянуло правую руку в области плеча, побежало по сосудам, болью потекло по всему телу.

Вероника уже плакала навзрыд, было страшно, и ей овладело ощущение, будто произошло что-то непоправимое, жуткое, что-то бесконечное... Рядом уже не было никого, в воздухе повисла непроницаемая могильная тишина. Веронику окружало нагромождение бесформенных тяжеловесных масс. Все тело сковал холод...

Наваждение, наваждение... Вероника проснулась... Или это только казалось пробуждением...

3

Питирим возвращался домой поздно из своей мастерской, промокший от проливного дождя и вымотанный бесплодными усилиями начать новую работу. Одежда промокла от дождевых потоков, налипла на тело, холодно касаясь кожного покрова. Ночь была особенно темна, некоторое время дождь шел буквально стеной, и Питирим даже пережидал под козырьком автобусной остановки, слушая металлический стук над головой и клочкотанье водяного потока у самых ног. Даже теперь холодная морось чувствовалась в воздухе, редкие капли норовили за шиворот, под ногами осторожно расширялись темные рытвины луж, а от земли тянуло перепрелой осенней влагой. Из подворотен доносился монотонный собачий вой, шипели по мокрому асфальту шины проносящихся автомобилей, одинокие фонари приглушенно освещали, указуя путь.

Питирима немного знобило, но тело сделалось нечувствительным к холоду, ведь мысли были тревожны и мрачны. «А что поделаешь, ведь ничего не изменишь, лучшее, что возможно, – прийти выпить горячего имбирного чая, лучше с медом, чтобы не проснуться завтра с простудой, и температурой, и этим неприятным скобящим ощущением в горле. Так или иначе, Альбина далеко, а я здесь, и ничего не изменится само собой, а я не приложу тех усилий, которых в любом случае будет недостаточно...»

Питирим завернул в свой двор, знакомый рыжий кот, вымокший до костей, нервно дернул перед самыми ногами в крошечную и вечную тьму подвала. У соседней парадной мигали широким радиусом пронзительно-синие огни скорой помощи, водитель стоял рядом с каби-

ной, курил спокойно, сосредоточенно, искорка сигареты плавно мерцала во тьме. Будто жерло печки, распахнулась дверь парадной, нервно и раздражающе пищал домофон, с лязгом хлопнула дверь, водитель бросил бычок мимо урны и торопливо перехватил носилки. Питирим проходил как раз вровень, и фонарный свет падал ярко и равномерно, он рассмотрел отчетливо лицо девочки, бледное, спокойное, с красивыми правильными чертами, прикрытые веки, русые волосы. Она исчезла в глубине автомобиля. Сложившись и скользнув в колею, слегка щелкнули колесики носилок, двери захлопнулись. Питирим уже заходил в свой подъезд, обернулся – карета скорой резко разворачивалась, под ногами что-то рыжее проскочило в манящую теплоту подъезда, где-то в соседних дворах громыхнул гром, и эхо заскользило вдоль домов.

Рассвет застал Питирима с грифельным огрызком в руке и наброском, сделанным в бессонной ночи. Рядом с Питиримом на столе недопитый горький кофе, несколько измятых листов бумаги, мысли его блуждали сложным лабиринтом, склонявшим ко сну. Прямо перед ним на плотном картоне лицо девушки, спокойно-грациозное: высокий лоб, узкие скулы, глубокий задумчивый взгляд – византийская Феодора, Ольга Хохлова, Юдифь Густава Климта.

– Интересно, как там эта бедная девочка?

4

Утро неспешно заглядывало в простуженные окна домов, расселины коих зияли неприкрытыми ранами. Над городом не было радуги, не было солнца; густые косматые дымы опрокинутого моря неподвижно застыли высоко над крышами. Иссякала в холодных объятиях пасмурного неба бледноликая луна. Серая мономорфная с синевой мундира ткань и золотая расплавленная пуговица на воротах... Или, взглянув из-за другого угла (с иного постамент, если хотите), небо серое, грязное, размазанное, в потертостях, шершавое, очень близкое, осеннее и по-настоящему левитановское.

Седые головы спящих фонарных столбов. Голые скелеты оборванных деревьев, груды разбухшей от влаги опавшей листвы. Обветренные, со следами оспы лица домов. Полноводное междуречье – реки, каналы, пруды. Мокрый генетически обусловленный асфальт, не скрывающий своих уродств, смиренно и послушно представляющий на всеобщее обозрение свои рывтины, вспухающие нарывы, мокнувшие язвы, пепельные пигментные пятна, шелушащиеся, растрескавшиеся морщинистые покровные ткани...

Октябрь. Суббота. В ординаторской реанимационного отделения было по-утреннему тоскливо, неуютно и прохладно. Так всегда бывает после бессонного ночного дежурства. У стены диван со светло-зеленым линялым покрывалом, несколько столов офисного типа, на одном из них монитор с плывущими сердечными ритмами и другими показателями жизнедеятельности. На другом столе компьютер с открытой интернет-страницей и сводкой погоды на ближайшую неделю (пасмурно, пасмурно, дождь), на экране внизу в списке популярных товаров обогреватели. Следующий стол в углу в обнимку с раковиной с разводами ржавчины завален посудой – керамическими кружками с логотипами фармацевтических фирм, названиями лекарственных препаратов, незамысловатыми рисунками, среди которых особенно популярны знаки зодиака. Пахнет подгорелым горьковатым кофе и краской.

На одной стене график дежурств, учебные схемы реанимационных манипуляций, списки сотрудников, телефоны, несколько коротких журнальных статей со статистическими выкладками.

Напротив, на другой стене над диваном крепленные скотчем распечатанные демотиваторы. Целующаяся пара с надписью: «*Говорят, когда человека перестаешь ждать, он возвращается*»; несколько комнат с открытыми настежь дверьми, светло-синие стены с частично облупившейся краской и пол, засыпанный горами песка: «*Время не лечит раны, оно просто стирает воспоминания*»; еще одна целующаяся пара и сентенция: «*Жизнь без любви – это как*

банковский счет без денег»; на последней картинке в лоскутных смазанных тонах набросок – опрокинутый стул, подобие комнаты, повешенный под потолком в призрачном углу: «Одиночество убивает изнутри медленно». На окнах решетки, за прутьями которых отступающие прочь сумрачные тени и привычное сморщенное, обугленное, заплаканное блеклое утро...

Дежурный реаниматолог передавал смену своему коллеге.

– Девочка. Поступила в ночи. Вероника Аркадьевна Грац, полных лет девятнадцать, студентка. Иногородняя. Живет одна. Анамнез скудный, сопровождения нет. Обнаружена около четырех ночи у себя дома в ванной. Скорую вызвала милиция, а ее в свою очередь соседи, живущие этажом ниже. Она их залила. Хорошо еще не захлебнулась. Сначала звонили в дверь, потом вызвали милицию. Лежала в ванной без сознания. Попытка суицида. Порезала вены. Предположительная кровопотеря около семисот – тысячи миллилитров. Оставила записку. Какой-то бред, вообще все как положено. Не хочу, мол, жить, что-то там про одиночество и тому подобное. Прилагается к истории. Теперь про анализы. На момент поступления эритроциты – два и два, гемоглобин – шестьдесят девять, гематокрит – двадцать три, лейкоцитоза нет, СОЭ – двадцать один, группа крови первая отрицательная. Кровь лили. Биохимия: глюкоза – три и шесть, белок – шестьдесят семь, натрий – нижняя граница нормы, калий – нижняя граница нормы, капаем полярку, печеночные ферменты в норме. Свежие анализы в работе, минут через двадцать лаборатория должна отзвониться. Кровь на гепатиты, форму пятьдесят, этанол взяли, хотя запаха алкоголя не было, следов инъекций на руках нет, других следов травм кроме порезов тоже нет, раны обработали, перевязали, конечности зафиксировали, поставили подключку, мочевого катетер. Был легкий психомотор, делали седативные, теперь отсыпается. Гемодинамика стабильная: артериальное давление – сто десять на шестьдесят пять, пульс – восемьдесят шесть, ритмичный. Тоны сердца ясные. Шумов нет. Электрокардиограмма без патологии. Дыхание самостоятельное. Сатурация в норме, пока на увлажненном кислороде. Температура с утра тридцать семь и четыре. Может быть, и простудилась, пока в холодной ванне лежала, но в легких хрипов нет, дыхание жесткое, понятное дело, курильщица. Антибиотики все равно добавлять нужно. Осмотрена офтальмологом – застоя нет. Когда полностью придет в сознание, первым делом надо показать психиатру, заявку уже подали.

– Чем резала?

– Обычной бритвой, явно не подготовилась, скорее всего, спонтанно все придумала, резала не правильно, литературу не почитала.

– От несчастной любви, значит?

– Вероятней всего... Эффект Вертера...²⁵

5

Есть что-то гетевское в попытке осеннего суицида... или Достоевский, Куприн...

Новый день оборачивается новыми картинами бытия. Постимпрессионизм в больничных тонах. Вероника лежит в мономорфной белой, как прокисшее молоко, палате. Потолок покрыт унылыми трещинами, а в окно, прищурившись, заглядывает рыжеволосая осенняя печаль.

Вероника бледна, но щеки ее рдеют легким румянцем. Вероника сгорает от стыда. Солнце бесшумно тонет в поляризующем растворе. На подоконнике, запутавшись в остаточных лохмотьях сна, кривляются незатейливые цветы коих нет, совсем некстати цветет декабрист (ехидный смех за углом...), и отчего-то удушливо пахнет мелиссой...

²⁵ У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается так называемый эффект Вертера – самоубийство под влиянием чьего-либо примера. В свое время опубликование Гетевского «Вертера» вызвало волну самоубийств среди немецкой молодежи.

Болезненный вид соседки, вылушенный из обступивших белоснежных полотен, не внушает доверия. На запястьях пластырь, бинты (будто только что с креста) и ремешки-фиксаторы. Позади девятнадцать лет праведной жизни и Голгофа...

Веронике тоскливо, ужасно хочется спать, неимоверно тяжелеют веки, и нестерпимо сушит во рту; мысли путаются, петляют эфемерными лабиринтами, строем карабкаются по кисломолочным стенам, соскальзывая вниз со скрежетом отворяемых оконных ставней.

Осенний сплин подобен хронической болезни, протекающей с сезонными рецидивами и пугающей своим неутешительным прогнозом. Здесь холодно и неудобно, такая хрупкая, как оказалось, вечность дрожит меж стен хрустальным переливом. Кашель соседки на мгновение вырывает из разверзнувшейся бездны. Капля за каплей бежит прозрачный раствор, тысячи молекул жизни, нехитрая вечность, целая вселенная внутри.

Бесконечно мелькают безликие халаты, шершавые простыни, тревожные прокисшие стены, обернутая стеклянной пленкой и ставшая равнодушно далекой осень.

Здесь время течет неспешно, здесь пасмурно и сиротливо. Витражи октября переливаются оранжевыми, багряными, ядовито-желточными цветами и узорами, а сменяющая день ночь обступает со всех сторон картинами Пикассо. Бездонные синие этюды бессонных больничных ночей. Хочется уйти по бесконечно длинному коридору, не замечая чужих и беспристрастных лиц. Хочется не слушать звук чужих шагов, не слушать шум дождя, не смотреть по сторонам, где все дышит страданием и несчастьем, хочется уйти от всего этого, быть незамеченной и никем неузнанной, стать свободной и открыть дверь, за которой притаилась спокойная, светлая, вседарующая благодать.

Вероника ощущает зыбкость своих надежд, всю хрупкость своих мечтаний, и потому она пребывает в смятении. Вероника прислушивается к дыханию соседки и сквозь обступившее ее пространство различает каждый новый стук своего сердца. *«Нежная хрупкая птица в моей груди»*, — думает Вероника и уже (нелепая неугомонная, еще совсем юная романтичность) подыскивает новую строку с неизбитой рифмой. Жаль, что нет под рукой листа бумаги и простой шариковой ручки (достаточным кажется даже карандаш), однако свет давно потушен, и все время отвлекает кашель соседки, приглушенный и робкий, непредсказуемый и нестерпимый...

Где же ты, спокойная, светлая, вседарующая благодать?

6

30 октября

«Сегодня долго беседовали с лечащим врачом. У него усталый взгляд и на склерах красные прожилки сосудов, как бывает после бессонной ночи. Голос спокойный и монотонный, но меня этот голос отчего-то вгоняет в еще большую тревогу, будто именно в этом голосе кроется вся пугающая суть случившегося со мной. Наверное, поэтому в разговоре с ним я всегда напряжена и скованна, а это, видимо, плохо в моем положении. Когда он измеряет мне давление, привычным движением затягивая манжету у меня на плече, я чувствую себя неловко и совершенно беспомощно, будто я колыкуемая птица в силке. Мне кажется, моя бледная кожа покрывается мурашками, становится похожей на корку апельсина, а он спокойно слушает, в изгибе локтя нащупывая холодной воронкой шум, и в этот момент мне становится особенно омерзительно, будто от прикосновения неприятного человека («рука прокаженная») или в постели с нелюбимым мужчиной. Я дрожу, как мне кажется, всем телом, ладони покрываются влагой, липкой, неприятной, как будто от сладкого сиропа, и нижняя губа кривится. Мне становится себя жалко, но лицо доктора по-прежнему безучастно... Ехидно корчит стрелка на циферблате, дергается «немножко нервно», затем медленно уходит к нулю, в затекшей руке я чувствую облегчение, и он размыкает оковы, разъединяя липучку манжеты,

из-под которой появляется мое оголенное плечо, а на нем (кожища у меня нежная, и синяки образуются легко) едва различимые пурпурные жилки кровянистой росы...

Доктор уходит, и я чувствую некоторое облегчение. В коридоре слишком много настороженных, напряженных, тяжеловесных взглядов, которые пугают меня еще более, чем мое собственное состояние. Иногда хочется плакать, но я сдерживаю себя, видимо, из-за какого-то врожденного стеснения – плакать при посторонних. Однако вечером приходит медсестра с очередной бутылкой загадочного бесцветного и абсолютно прозрачного раствора, она ловко подключает капельницу, и вслед за небольшим жжением в локте приходит чувство нарастающей слабости; тревога внутри утихает, я бессмысленно таращусь в белый потрескавшийся потолок, вижу, как он расплывается надо мною, словно огромное полотно, которым меня накрывают полностью, как саваном, и ловлю себя на мысли, что медленные капельки влаги застыли меж век, а самые проворные из них уже скользят по моим щекам. Это та единственная, как мне кажется, слабость, которую я еще могу себе позволить...

7

1 ноября

«Ноябрь – это хранитель наших тайн, надежд, разочарований. Ноябрь – молчаливый наблюдатель, равнодушный к нашим исповедям, беспощадный и суровый. Ноябрь – пронзительный крик осени, холодный, хмурый, настороженный зверь. И он как-то особенно страшен из окна больничной палаты... Вскрыла вены, не приняла яд, не открыла газ, не искала крюк²⁶ – не повесилась... Вскрыла вены. Глупо, гадко, самой мерзко и все еще стыдно.

Пишу в свой мобильный телефон. Его мне принесла моя знакомая Лика, она единственная, кто про все знает; навещает меня два-три раза в неделю и почти ни о чем не спрашивает. Мне бы и не хотелось, чтобы она задавала некоторые вопросы, я их сама себе не задаю, потому что знаю, что ответов пока нет. Она принесла мне мобильник, некоторые необходимые вещи, что-то из продуктов, гематоген с витамином С и лесным орехом, а вот сигареты отказалась. Говорит, что, если я буду нарушать режим (курить здесь нельзя), меня еще долго не выпишут. Может быть, она и права. Мне сейчас сложно рассуждать здраво. Я не попросила ее, чтобы она принесла блокнот или тетрадь для записей, потому что если это кто-то прочтет из персонала, то, возможно, меня действительно признают сумасшедшей, и тогда мне отсюда не спастись, а я очень хочу домой, в смысле на свободу. А может быть, я это надумываю. Одно я точно могу сказать: еще месяц здесь, и я сгнию заживо.

От скуки я слишком много думаю, и мысли приходят разные. Что-то никак не получается подняться выше первой ступени той самой пирамиды, словно с издевкой над всем человечеством выдуманной Абрахамом Маслоу, нам преподавали в университете; даже уверенно взобраться на первую не получается. От таких рассуждений меня накрывает тоска, впрочем, я все время тоскую.

Целый день среди... хм, больных... Невыносимо! «Сумасшедшие, знаете ли, не хворают» – с улыбкой вспоминаю полюбившуюся строку из Альфреда де Виньи.

Моя соседка – Лера. Все время кашляющая светлокудрая девица с туманной пеленой, заставшей изумрудного цвета глаза, будто она только что проснулась или сильно выпила, и с татуировкой на левом плече – бирюзовокрылая нимфалида с надписью: «Je te souviens del'atour²⁷». Она постоянно незримо пребывает со мной. Эта близость действует на меня угнетающе. Находясь в палате, она не умолкает ни на секунду, зато, выходя в коридор на прогулку, пребывая в столовой или в общем зале перед телевизором, она всегда напряжена

²⁶ Фраза из письма Марины Цветаевой: «Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк... Я год примеряю смерть».

²⁷ Буквально «Я вспоминаю любовь» (фр.).

и задумчива и, по-моему, ни с кем кроме меня не общается. Она рассказывает мне странные истории из своей жизни, о своем детстве, которое она провела в Таллине, о своих друзьях, о том, почему она уже давно не понимает своих родителей, а они в свою очередь ее, и почему она бросила институт, и больше всего про то, что случилось с ней в последние два года. Эти ее рассказы отчего-то крепко врезаются в мою память и не дают спокойно спать ночью, она же вообще страдает бессонницей и, как мне кажется, никогда не спит. Наверное, оттого у меня все еще нездоровый вид, хотя гемоглобин растет, и показатели крови улучшаются, если верить словам лечащего врача. Я не высыпаюсь, и у меня красные белки глаз с утра и под вечер. Уснуть в этих стенах да еще с такой соседкой просто невыносимо. Попросить ее замолчать бесполезно, я пробовала.

– Я, в общем-то, и не с тобой разговариваю, я болтаю, просто, чтобы успокоиться, знаешь, мне очень одиноко, а голоса меня успокаивают. Если тебе неинтересно, можешь пойти в коридор, или попроси другую палату, – совсем не раздражаясь, с задумчивым равнодушием отвечает она. Но других палат нет, я спрашивала. А что касается коридора, там еще хуже. Лера хотя бы не лезет к тебе с идиотскими расспросами, и еще она практически никогда не улыбается, только когда произносит одно имя, а меня сейчас улыбки отчего-то ужасно раздражают, словно это что-то настолько мерзкое, что мне приходится с отвращением отводить взгляд.

Поэтому я понуро сижу на своей койке, неловко подогнув под себя ноги, и, обхватив колени руками, с тоской ссыльного поэта или приговоренного к смертной казни в глазах безропотно слушаю ее тошнотворные повествования. Вообще-то, мне ее очень жалко...

Ей двадцать два года и она амфетаминовая наркоманка, а еще она безумно влюблена в своего парня, которого зовут Андрей. Это его имя она называет улыбаясь и неизменно прикусывая нижнюю губу. Андрей на два года младше, и это он приучил ее к наркотикам. Они познакомились в каком-то петербургском ночном клубе почти два года назад и с тех пор вместе. И эти последние два года жизни, с ее слов, – это постоянные «эфедриновые вечеринки и метадоновые друзья».

Лера рассказала мне, что они мечтают вместе совершить самоубийство. Она говорит, что таким образом они якобы докажут друг другу свою любовь и «окончательно наплюют на всех» или что-то в этом роде. Бред.

– Это было этим летом, июль месяц и невозможная жара. Мои родители уехали к родным в Таллин, а я отказалась ехать, потому что боялась расставаться с Андреем. Я его слишком сильно люблю, и там без него мне было бы слишком одиноко. Весь месяц мы принадлежали друг другу, все время проводили вместе. Мне никогда не было так хорошо, в тот июль я наслаждалась счастьем... Июль подходил к концу, в августе должны были возвращаться родители, они хотели, чтобы с сентября я вернулась в институт, отец обещал договориться. Мы оба ощущали, как хрупка наша маленькая идиллия. Когда вернулись родители нас с Андреем разлучили. Я закатила им настоящую истерику, сказала что совершу суицид. Поэтому меня и отправили сюда. Я часто переписываюсь с ним по телефону. Андрей написал, что уже все обдумал, как все будет дальше, – на этой фразе лицо Леры принимало загадочно-мечтательные черты, и мне становилось не по себе. А она, каждый раз излагая этот монолог, спустя несколько минут со вздохом добавляла: – Но надо ждать, когда меня отсюда выпустят.

Мне хочется, чтобы это произошло как можно позже, возможно, когда это все-таки произойдет, она уже не будет так думать и не совершит задуманного. Мне очень хочется в это верить.

Но сейчас она убеждена в своем сумасшедшем желании. Похоже, она только об этом и думает, она объяснила мне, что я, выходит, все сделала не верно. Пальцы дрожали, не слушались, и голова кружилась (от вида крови, конечно), сознание потеряла быстро. И вода была

едва теплая. Соседей снизу залила. Левая рука теперь работает неловко, врач говорит, что я там что-то повредила, когда резала, но вроде это восстанавливается.

Лера знает сотни способов уйти из жизни, некоторые, по ее словам «девяностодевятипроцентные» и возможны даже здесь, в больнице.

– Здесь в коридоре у окна в огромном кашпо, – рассказывала она заговорщицким тоном, – есть такое растение диффенбахия с крупными темно-зелеными листьями, я где-то слышала, что оно ядовитое, и, если съест несколько листиков...

Впрочем, все это отвратительно. Нет уж, спасибо, жрать диффенбахию не собираюсь! (Бедная Лера...)

Теперь на учет к психиатру поставят и, вообще, сколько еще в больнице продержат! А впереди отработки, сессия, родителей обещала навестить и...

Плохо, что здесь нельзя курить!»

Ночь приходит мертвая, больная, щемящая... Веронике не спится.

Накатывает усталость, а все же не уснуть. Мысли петляют однообразными бессмысленными лабиринтами. Скоро зима, а значит, город будет завален снегом, песком, солью, еще какой-нибудь дрянью. Ночи будут темные и холодные. Три безжизненных, неинтересных, хмурых месяца впереди. Хочется верить, впрочем, даже неважно во что, просто хочется верить.

Вероника лежит на постели и сосредоточенно рассматривает руки. «Интересно, а шрамы останутся?»

8

Одиночество проникает незаметно. Одиночество подобно скрытому заболеванию, неощутимому до самой последней стадии, когда уже ни чем не помочь, и все только виновато разводит руками.

И вот пустые, оголенные комнаты, тоскливо-знакомая обстановка и внутренняя опустошенность. В горле какая-то невыносимая горечь. Почему-то боязно смотреть по сторонам, прикасаться к предметам, книгам, бумагам – все несет в себе слишком большую смысловую нагрузку, как в аркаде, в ванную вообще лучше не заходить. Хуже всего, что за окном с самого утра пасмурно. Небо затянуто серым безобразным линялым брезентом. Небо безучастно.

Однако, верно, все самое страшное позади – и больше никаких суицидов (в этом не везет, как и в любви).

Первый день «на свободе», в своей квартире, неуютно, но терпимо, одиноко, не более чем всегда. Независима от всего мира... пожалуй, нет – завтра к врачу и слишком много дел, надо многое разобрать и во многом разобраться, прежде всего в себе. Вероника напряжена, она пишет...

16 ноября

«Не вышло, остаюсь среди живых. Пишу, потому что хочется задокументировать, записать (очиститься), после уже перечитать, убедить себя самою: Я – есмь²⁸, я жива, жива... буду жить!

Как-то все не выходит быть праведной, мудрой, справедливой к себе и к тем, другим, которые подобны людям, не получается быть просто счастливой, радостной. Все улыбки выходят криво. Не получается забывать, прощать; память превратилась в ворох ненужной макулатуры: письма, даты, обрывки стихов, заголовки газет, сказанные вслух и застывшие

²⁸ В своем дневнике Вероника ссылается на стихотворение Марины Цветаевой.

навсегда в голове, но не озвученные фразы, простые картинки из жизни, черно-белые, цветные и сепия, осколки снов и реальность, открытки и поздравления, электронные сообщения, смс, напоминания, архивы и прочий хлам, дневники, блоги, ЖЖ... Все суета. Все это во мне живет своей жизнью, эволюционирует вместе со мной. Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни...²⁹ Мы не можем вырваться из замкнутого круга. Я не смогла. Не получилось шагнуть в пропасть до самого конца, не извела всей ее глубины, вырвали из бездны (зачем?) и поволокли дальше. Не дали скончаться. Не зарыли (а хоть бы и живьем!), не утаптывали землю, не справляли поминок. Куда там! Вернулась в трезвом уме и почти твердой памяти с новыми надеждами и бинтами на запястьях. Еще совсем слабая, обиженная, но уже другая (и под кожей чья-то чужая кровь бродит), словом, изменилась с тех пор. В зеркало еще не гляделась – боюсь. Человек переменчив, только вот вокруг все по-прежнему. Те же улицы, те же лица. Одиночество здесь повсюду: утром рядом с тобой в постели – на одной подушке, на твоём плече, за завтраком оно застает тебя врасплох с чашкой кофе в руках, а потом шагает следом за тобой по улицам и вечером поджидает в прихожей, а ночью караулит твой сон и, не отводя глаз, таращится на тебя из всех углов непроницаемым сфинксом.

Мечтала об успокоении, о себе думала. Эгоистка! Хотела всех оставить, отлучилась, мол... Напрасно все это, теперь только опомнилась, поняла, хотя нет – начинаю понимать.

Думаю о будущем, вероятно, поэтому и пишу эти строки. Странно, никогда не вела дневников, хоть и тяготела к письму, видимо, доверяла только себе, теперь могу довериться бумаге, как тогда, в ту ночь, когда была немного безумна (хотя об этом с сомнением в голосе).

Пока еще не решила, как все будет дальше. Рано сейчас об этом, время покажет. Смеюсь, глупо смеюсь своим мыслям, а все потому, что осознаю банальность всего происходящего со мной. Ведь, верно, было точно также с кем-то и до меня, не я первая сделала такой шаг, не я первая сошла с ума, безумцев и до меня хватало. Хочется курить, кажется, это единственная потребность моего организма в нынешнем его состоянии. Опять смеюсь.

Уже курю... Продолжаю: все как-то перемешалось во мне теперь, множество эмоций, воспоминаний (что всего хуже), переживаний. А ведь все это и гроша не стоит, с этим багажом не пойдешь в завтра. Собственно, куда я пойду? Позади кресты, пепелища, вокзалы; эпитафия прожитым годам уже написана, и на ладони линия жизни перечеркнута, однако не оборвалась. Впереди светлое завтра, безграничное счастье, ванильные небеса, розовые шторы или, что более вероятно, монотонная гнетущая душевная горечь (взахлеб), а потом небо, звезды, погост, оцинкованный май... Впрочем, не важно, все одно – не быть. Не я, другая... Поживем, будем смотреть...

Знаю только одно: дальше без них. Вычеркиваю всех... безжалостно, без сожаления, без упрека, не стыдясь, не оглядываясь, хороню всех: хороших, плохих, добрых и злых, любимых и не очень, милых, дорогих и опротивевших, коих число многократно больше. Сжигаю все и вся (в конце концов, Господь узнает своих!³⁰). Ухмыляюсь.

Я пишу эти строки, сидя на кухне на кривом деревянном табурете, ссутулившись до невозможности, курю одну за одной дешевые сигареты, чему-то улыбаюсь (еще ведь могу, как странно), а сама, наверное, бледна ужасно, болезненно-некрасива, видимо, напоминаю Голлума. Кто бы видел, девятнадцатилетняя девочка, поэтесса Вероника Грац с разбитым сердцем и неловко вскрытыми венами, со своими страстями и терзаниями и этой никому, кроме себя самой, не нужной исповедью (кстати, очередное переиздание, анонсирую – публикуется

²⁹ Цитата из Жорж Санд: «Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу».

³⁰ Согласно истории Крестовых походов, когда один из предводителей войска Христа спросил у папского легата Арнольда-Амальрика о том, как отличить католиков от еретиков, тот ответил: «Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius» – «Убивайте всех! Господь узнает своих!».

впервые!) предаюсь самовольному *auto de fe*³¹. Глупо. Не могу по-другому, что поделать, ювенильна от природы. Стало быть, простительно. Не обвиняйте!

К людям очень требовательна, не люблю смешных, и простодушных, и дешевых, а сама? Если уж линчевать себя, то самым циничным образом. Эгоистична (об этом уже было), наивна (сознаюсь), романтична (следствие ювенильности, думаю), будем продолжать? Бес-таланная, одинокая, ненужная; груба, диковата, ненормальна, не любима, не религиозна, упряма, к окружающим жестока (не всегда), умереть не смогла (тоже скверная особенность), чувствительная натура, фигурой и лицом не идеал (и не Анна Ахматова, что обиднее), правильных решений принимать не умею, изменчива (как все женщины), слаба, грешна, не богата, бываю невыносима... Опять же вредные привычки (мну очередную сигарету в пепельнице, мед-ленно сворачиваю ей шею, все, прикончила!). Каюсь, каюсь, каюсь...

От таких размышлений не то что вены резать станешь, можно и зашить, но уж это совсем противно. А все же искренняя, этого не отымешь. Иных добродетелей не имею.

Исписалась, вышла в тираж, стала бесполезна, только вот в ящик не сыграла. Чувствую свою оторванность от окружающего мира, не приемствственность к происходящим событиям; последние полгода не живу, а существую, точнее, пытаюсь выживать (с переменным успехом, надо сказать). Трогательная, себя жалею, утешаю, а между тем измучилась, извилась, исстрадалась. Склонна к депрессии, особенно осенью, особенно когда все плохо, когда больше нет сил, когда вокруг пустота и больше нет никого. О нем писать не буду... не могу, не хочу, ненавижу...

Хочется научиться забывать. Еще то желание! Вроде есть способ: записать на листке бумаги то, что хочешь выбросить из памяти, и сжечь или разорвать в клочья³². Надо будет испробовать на себе, терять нечего!

Если вдуматься, сегодня не такой уж скверный день. Еще вчера палаты, больничные коридоры, болезненные исступленные лица, остекленелые глаза, духота, скука, чокнутая Лерка. А сегодня я почти принадлежу сама себе. Мне почти хорошо. Время откровений. Я пишу для того, чтобы исцелиться, и мне как будто в самом деле становится легче. В целом мире нет человека, которому я бы могла все это поведать вот так вот запросто, вывалить целиком эту горестную муть, всю эту грязь и пошлость, скопившуюся душевную копоть, мусор своих мыслей. Кто бы стал выслушивать? Была бы не понята, заклеямили бы сумасшедшей (что, в принципе, не столь далеко от истины). Я сама не могу разобраться в себе, куда уж другим! Не допишу, не доверюсь, сохраню душу от чуждого мира.

Смотрю на себя со стороны, будто во сне (очень реалистичный дурной сон), созерцаю свое превращение; убеждаю: я соглядатай, всего лишь сторонний наблюдатель, не должна мешать (вмешиваться). Что-то, конечно, изменилось, но жизнь идет своим чередом, надо продолжать имитацию жизни, выполнять привычные функции: принимать пищу, контактировать с миром. Социальная адаптация, говорят, затягивает...

Пью кофе, выкурила треть пачки, на улице темнеет, странная лирическая нега окончательно одолела. Перечитала свои последние стихи (до чего докатилась): неказисто, сумбурно, грубовато, фальшиво, хотя отдельные строки не кажутся окончательно прогнившими (думаю, и в этом заблуждаюсь). Какое наследие оставила после себя. В самом деле, была бы чуть удачливее в своем последнем предприятии, и... черная гранитная ограда, белый обелиск (неприменно хочется белый обелиск), фигурный цоколь, на табличке «Вероника...» и так далее, родилась-скончалась, фото, цветы, венки, ненастоящая скорбь друзей, чьи-то искусственно

³¹ Аутодафе (ауто-да-фе, ауто де фе; порт. *auto da fé*, исп. *auto de fe*, лат. *actus fidei*, буквально – «акт веры») – в Средние века в Испании и Португалии торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров.

³² Метод забывать информацию, описанный в произведении Лурии А. «Маленькая книжка о большой памяти».

(или искусно) вызванные слезы, сплошная бутафория и надувательство (надругательство, правильнее). Ради этого и умирать не стоит.

Устала, сегодня уже безумно устала, веки липнут друг к другу, во всем теле непреодолимая слабость (все-таки я еще очень истощена), хочется лечь, отрешиться от всего, освободить разум от мыслей. Подводить итоги пока рано, я еще не освободилась, не исцелилась, во мне все так болезненно и хрупко. Знаю, дальше будет лишь хуже, и все же хочется верить!

День тянется за днем, жизнь состоит из мелочей, счастливые мгновения проходят, незаметно приобретая странные свойства, напоминая о себе неожиданно, убеждая, что и ты когда-то была счастлива, но только не умела этого заметить, распознать вовремя (разве этого мало), и кто, собственно, виноват в том, что ты так несчастна. Одиночество абсолютно, оно заполняет все пространство, одиночество равнодушно, беспристрастно, оно не выбирает себе спутников. Я привыкаю к нему, изучаю его стороны, и вместе с тем – Я, Вероника Грац, имела неосторожность быть рожденной, продолжаю свое существование. Сего дня мне полных девятнадцать лет, именую себя поэтесса. Влюблена. Прибавляю: «Была». Отрицаю прошлое (отныне). Не верую в Бога и Зигмунда Фрейда. Причисляю себя к последователям Серебряного века. Самонареченный диадок. Сомневаюсь. Исправленному не верю. Начинаю новую летопись жизни. Как там пишется в автобиографии: «Брошена, неприкаянна, в окончании – захоронена у дороги...» Так, что ли? Будет что добавить – отпишусь! Точка».

9

17 ноября.

«Сегодня другой день (...).

Возвращаюсь к своей рукописи. Пауза. Грею чайник, хочется уюта и тепла, спокойного постепенного мирного пробуждения без сторонней помощи и радикальных мер. По кухне разносится мерное жуужжание, быстро и незаметно обрываясь в пустоту, наполняя жизнь сомнительным смыслом. На столе пепельница с кучей окурков (подобие могильного кургана), на которые я таращусь минуты три в летаргическом исступлении. В конце концов это вызывает неприятное сиротливое урчание в животе и легкое чувство тошноты. Включаю радио (скорее, по привычке). Повезло. Слушаю Янку³³. Столетний дождь. Пью черный байховый (спасительный напиток, подобный митридатино³⁴). Потихоньку согреваюсь и обжигаю небо (тихонько дотрагиваюсь кончиком языка). Во дворе, поднимая невозможный, отвратительный и раздражающий переполох, орудуют мусоровозы. На часах... Стоят! Форточка открыта и любезно пропускает холодный воздух. Надо бы закрыть, но сил вознестись до нее в себе не нахожу. Наверное, это плохо. Мне становится по большому счету все равно – скверное и пугающее предчувствие. Куда-то запропастился плед. Опустилась. Отвлечься не выходит, и я читаю то, что начеркала вчера. Этакая антропомантия³⁵ на груди собственных костей. Пауза. Молчание. Говорить не с кем, пустота помещений, поэтому продолжаю писать...

Страшно мерзнут руки, продолжается озноб (вся в объятиях мурашей). Мысли путаются, а голова ужасно тяжела. Не обессудьте...

Итак, вы не найдете меня в списках умерших. Меня не заколотили в ящик (не положили во гроб), не засыпали землей, не прочли траурного панегирика, земля не стала мне пухом,

³³ Яна Станиславовна Дягилева (Янка) (4 сентября 1966, Новосибирск – ок. 9 мая 1991) – рок-певица, поэтесса, автор песен, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др.

³⁴ Ядовитое снадобье. Считается, что многие годы царь Митридат принимал ядовитые снадобья и так приспособился к ним, что стал неуязвим для яда.

³⁵ Гадание на человеческих внутренностях.

и собаки до меня не добрались³⁶. Я продолжаю бесславное бытие в своем темном логове, в однокомнатной квартире в уродливой многоэтажке в сером, свинцовом, мрачном, жестоком городе. Сколько лет? Три года. До этого прожила почти шестнадцать лет с родителями в Брянске (считать лимитой!). Кстати, там и родилась четырнадцатого августа. Мама рассказывала, что тогда весь день шел проливной дождь (у меня есть все основания доверять этому факту).

Отец Аркадий Николаевич Грац, мать Александра Леонидовна Грац (Свиридова до замужества). Отец (согласно профессии – инженер), бывало, рассказывал о нашей фамилии, тогда была еще несмышленой, помню очень смутно. Вроде фамилия имеет польские или немецкие корни (склоняюсь в сторону Westfalen³⁷). В общем, Grazios³⁸. Мать – медсестра в Брянской областной инфекционной больнице.

Родителям давно не писала. Не знаю почему. Оправданий нет. Смягчающих обстоятельств тоже. Да что же я могу написать? «Дорогие мама и папа, дочка ваша, единственная и любимая, выросла, повзрослела, стала самостоятельной, нужды ни в чем не испытывает, не голодает, учится на положительные отметки, однако сделалась самоубийцей, хоть в этом нехитром деле удачи и не снискала. А нонче страдает меланхолией, ежится от холода и много курит». Дура! Сколько же можно заниматься самоедством!...

Детские воспоминания всегда самые теплые, стойкие, с каким-то терпким, прелым, нестираемым ароматом, со вкусом алого шиповника и предвкушением дождя, свежим ветром, улыбками и беспечной радостью, пустыми мимолетными обидами, морозной зимой с узорами на стеклах и нежным солнечным летом, с зеленью и душистой сиренью, навсегда полюбившимися песнями, маленькими незаменимыми удовольствиями, с мороженым, с воркующими голубями на карнизе поутру, с любимыми игрушками, с хорошими друзьями.

В детстве была болезненная тихоня. Звалась Ника (одноклассники величали Рони). Училась хорошо, читала много, плакала мало.

Что-то еще? Наверное, о поэзии. Стихи начала писать четырнадцати лет от роду (и вовсе не была ни в кого влюблена). Почувствовала внутреннюю щемящую потребность, горделивую ненасыщенную жажду, вскрывшиеся, подобно гноящимся ранам, избытки нереализованного самолюбия. С тех пор что-то сломалось во мне, окружающий мир был преобразен и предстал в новых и не всегда ярких цветах. Исчезли предубеждения и слепая уверенность, за истошенностью воспаленных глаз росла и крепла доселе неизвестная моему существованию внутренняя сила. Из поэтов – Маяковский. Из поэтесс – Ахматова, Цветаева (в алфавитном порядке). Большие половины – самоубийцы. Как кстати.

Основная часть из написанного мной в то время ныне покоится дома в Брянске, большая часть не стоит того, чтобы перечитывать. Некоторые строчки отчего-то засели в голову, периодически беспокоят (ноют, зудят), как осколки после ранения:

*Лето. Жажда... И стаи во тьме
Пропоют свою песню оврагам,
Мхам болотным, гниющим корягам,
Синеоким лесам и луне
Знойный ветер погонит сквозь пыль
Эхо мрачных ночных колыбельных,
Стон незримых потоков подземных
И сухой сединистый ковыль*

³⁶ В Древнем Риме было проклятие: «Пусть земля будет тебе пухом, и собакам легко будет добраться до тебя».

³⁷ Вестфалия (нем.) – историческая область на северо-западе Германии.

³⁸ Грация, изящество; привлекательность, прелесть; приятность; любезность, приветливость, вежливость (нем.).

*Тонут звезды в июньскую степь,
Месяц скрылся за дальние склоны,
И в церквях зарыдают иконы,
Оставляя соленую взвесь...*

Родители провожали как в последний путь. Запомнилось серьезное мрачное лицо отца и мать, не сдержавшая слез... Из друзей никого не было. Поезд тронулся вдоль полей, цветущих лугов, глухих буреломных лесных чащ, безжизненных станций. В такт вагону вдоль железной колеи промеж притоптанного бурьяна и огромного уродливо стоящего борщевика на ветру грустно раскачивалась адамова голова. Судимир. Малоярославец. Лихославль. Бологое-Московское. Непрерывный глухой стук колес.

*Дымом костра... Над пустошью эхо пульсирует стансами,
Стынет зола, безудержно болью дрожит под пальцами,
Привкус смородистый осени, душу встряхнув, очистила,
Воздух оглох, наполнился серой, частицами выстрела...
По бездорожью холодам, в поле сухими травами, Стать
буреломом Бряничины, степью, блуждать канавами,*

*Кровью, листвою, щепками, полог землистый узорами,
Лес оцетинился ветвями, стаей вспорхнули вороны.
Руки, как есть, ободраны, память души раскорчевана,
Хлынула темными водами, пьяным дурманом солода.
Черным крестом безымянного – имя, как водится, сколото,
Солнце горит над полянами, сыплет осеннее золото...*

В Санкт-Петербург приехала три года назад летним нереальным, фантастически-иллюзорным, до неприличия сумбурным днем...

Поступила в институт. Начала курить. Все оказалось гораздо сложнее и хуже.

А потом совсем неинтересно...

День будет холодный и хмурый. Увы, я все еще не принадлежу себе. Сегодня необходимо посетить доктора».

10

Вероника в Польском саду³⁹. Светлый оранжево-бархатистый день с пестрыми аляповатыми облаками, пристыженными своей наготой деревьями, ворохом сырой мозаичной листвы и удушливым ароматом осени. Казалось бы, а вчера был снег, мокрый, липкий, безжизненный, слякоть, морозный воздух.

На Веронике длинное пальто шафранового цвета, прямоугольного силуэта, серый вязаный шарф, расплавившийся по плечам. Русые волосы распущены, глаза устало-нежны. От нее веет ароматами черной смородины, мадагаскарской ванили, японского пиона, душистым дыханием иланг-иланга. Притягательно, чарующе... В кармане обрывающейся мелодией позвякивает связка ключей, под ногами потрескивает, хлупает, шуршит полог из березовой и кленовой листвы, порывисто дышит ветер.

³⁹ Сад в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Получил свое наименование по близости католического собора Успения Пресвятой Девы Марии.

И отчего-то сегодня все легко и просто, и мир кажется весьма безбрежным, и куда-то прочь отступает одиночество. Память тонет в холодной темной воде, глубоко скрыты тайные желания, расслабляет и успокаивает сигарета со вкусом вишни.

Привычный дымчатый кварц в глазах Вероники меняет цвет на винно-желтый. И на ее лице появляется светлая угадываемая улыбка, а походка становится спокойной, размеренной, мечтательной и неспешной.

Хочется гулять по осеннему Петербургу (или гулять по-осеннему) до самых сумерек, прикоснуться к его запахам и цветам.

А когда воздух станет особенно холоден и будет пронизывать насквозь, и когда зажгутся вечерние фонари, подсветка зданий, засверкают рекламные щиты, хочется зайти в полупустое уютное кафе, выпить горячего мохито, выкурить Bossner «Cleopatra», и чтобы в зале звучал джаз – Луи Армстронг⁴⁰ «What A Wonderful World», а затем прослушать «La Vie En Rose», тихонько, незаметно для всех подпевая сквозь острый горький дым:

*Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me heaven sighs
And tho I close my eyes
I see la vie en rose
When you press me to your heart
Im in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak...angels sing from above
Everyday words seem...to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose⁴¹*

А вернуться домой уже ночью, в какой-то там далеко заполуночный час, когда уже нет смысла и желания смотреть на негодующие стрелки часов и совсем не хочется спать.

В приглушенном свете нефритового подвесного абажура усестись в неожиданной, замысловатой, расслабленной позе в уютное кресло, накрыться пледом и читать что-то светлое, глубокое, тревожное. До тех пор, пока веки не сомкнутся сами собой, и все станет далеким, нежным, плавно раскачивающимся на теплых морских волнах...

11

20 ноября

«У окна сидит смуряя девочка и твердит задуманным, слившимся голосом: «Избавь меня, Господи, от моих обетов!»

*Всего-навсего душевный апокалипсис. Ничего страшного.
Дальше уже сплошная нецензурная речь...»*

12

23 ноября.

⁴⁰ Американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля.

⁴¹ В романе приведен текст песни Луи Армстронга «La Vie En Rose».

«Ночная мгла, слепые мертвые звезды, отшумевшая пустота, безбрежный вечный молчаливый океан...

Знаю, там за окном и ночь, и фонарь, и аптека, и пьяные и последние выжившие трамваи бродят кругами, и чьи-то тени плавно скользят по сугробам. Все это на обветшалых страницах моей тетради.

Пишу урывками, когда есть время, чаще, когда накатывает. Сегодня в третьем часу ночи. Помогает гораздо лучше подкисленных солей лития⁴² или теплого пряного яблочного глинтвейна (ммм...). Думая об этом, я легонько прищуриваю глаза, повожусь плечами вперед, выгибаю спину и глубоко вздыхаю. А еще вспоминаются печеные яблоки с сахаром, корицей, кедровыми орешками и черносливом в лимонном соке. Поздней осенью нет ничего более искушающего.

Ноябрь – самый скоростизно живущий месяц, я падаю в него, словно в пропасть. В ноябре приближение зимы становится неотвратимым. Приходится опустить руки, надеть теплые одежды, ежедневно принимать аскорбинку и съесть ложку башкирского лугового меда. Одуванчик, вереск, шалфей, цикорий, зверобой, василек. С моим-то хроническим бронхитом.

Я пишу ноябрьские обреченные эссе, меня пугают тревожные лики осени, я наблюдаю увядание мира.

*Холодный ноябрь тенистой аллеей проводит в хранилище души,
Мой сад давно умер, уже багровеет безмолвная сонная глушь;
Лирический странник последней эпохи, последняя жертва чумы,
Выводит чернилами ровные строки и видит печальные сны.
На темном бульваре бездомной собакой ползет полусгнивший
трамвай,
Ломают бесшумно колеса босые ноябрьский хрупкий янтарь.
Безумный поэт и слепой переводчик гадают над чашей воды,
Слагают поэму «Прелюдия ночи. Пророчества полной луны».
Угрюмые плиты, мои катакомбы, ужасные знаки любви,
Я знаю, хранители души отрицают целебные травы весны,
Глубокие ямы – колодцы желаний и связки волшебных ключей...
Я слышу, доносятся томные вздохи и стон из незримых щелей;
Уснувшие тайны едва уловимы под пледом надгробной тоски,
Но знаешь, когда вновь раскроются раны, мы будем с тобою
близки...*

Медленно отступает сон, ночь бежит мелкими песчинками, золоченым бисером, отстраняясь, ища иное воплощение. Сна нет ни в одном глазу, нет его и за окнами, где луна, приняв образ латунного анкера, вылезла на пол-локтя из-за соседнего девятиэтажного дома и надежно закрепилась на небе, повиснув криво и уже неподвижно.

Соседей мне ничуть не жаль. Беру гитару, Am E Am G...»

13

28 ноября.

«В Муми-Дол приходит осень...

⁴² Препараты лития – психотропные лекарственные средства из группы нормотимиков.

Цветы в моем доме зачахли. В мое отсутствие их поливала Лика, пыталась расставить ближе к свету, но тем не менее уцелевших нет. Видно, они, как и люди, тоскуют расставаясь, и ни чье присутствие не может заменить им того, о ком они грезят. Я с сожалением смотрю на ссохшуюся алоказию, почерневшую калатею Варшавича, желтые безжизненные листья драцены, опавшие листики фикуса Бенджамина. В моих глазах стоят слезы. Чтобы взбодриться, я пью горячий зеленый чай с черникой, гранатом и красным виноградом. Свежий пьянящий аромат. Холодильник, оголивший свое чрево, уставился на меня голодными полками. На завтрак готовлю оладьи. Черствый французский багет с кунжутом летит в мусорное ведро.

Завтракаю. Разглядываю распятых пальмовых носорогов в застекленной рамке на стене (чей-то подарок). Раскрытые каштановые надкрылья, золотистые чешуйчатые крылышки, зубчатые лапки. Слишком уж безрадостно наблюдать застывшую торжествующую смерть. Мне кажется, я схожу с ума. Сегодня ночью (в самую ее темную пору) я плакала, безудержно рыдала, иступленно, безнадежно, бессмысленно. Крик, не находящий своего адресата. Я видела сон, как по мрачному, едва освещенному больничному коридору закутанным в белые рваные простыни, неестественно изогнутым, обезображенным и колеблющимся в такт движениям металлической каталки везут мое тело. Мраморного цвета пятки, посиневшие ногти рук и ног, землянистого цвета лицо с вытаращенными глазами, впавшими щеками и заостренным подбородком, а еще неприятный кислый вкус маринада во рту, до того отвратительный, что сводит скулы, и еще шаги санитаров, гулкие и неизбежные. Где-то гремят затворы железных дверей, высохшие стены смотрят с прискорбием. На окнах изогнутые прутья решеток, затхлый воздух, шаги по мокрым плиткам отчетливо доносятся, как во тьме, безобразные крысы пищат в углу, растаскивая крошки хлеба. Что со мной? Откуда этот страх, который действует на меня с такой парализующей силой... Я успокаиваю себя мыслью, что всего этого не существует. Всего этого не случилось, не произошло, ибо где-то преломилась линия, не оборвалась, а лишь преломилась и потянулась дальше, пока еще неясно куда. Эти мертвые жуки сегодня для меня несомненный символ неотвратимости смерти.

Штампы, итампы, итампы... Включаю телевизор, пытаюсь переключать каналы: «Дачники» разгромили «молотобойцев», «шпоры» свели вничью... День рождения Виктории Бони... Анонс «Сахалинской жены» по каналу «Культура»... Голубые фишки российского фондового... Лев Лурье... No comments⁴³». Кадры, кадры, кадры...

Начинается еще один день моей жизни. Знаю, что он будет тянуться долго и утомительно. И рядом не будет теплого, дружеского, ободряющего взгляда, и никто не будет читать мне до поздней ночи Гумилева (увы, мой любимый голос канул в пустоту), и разомлевшая луна ляжет на мой подоконник, найдя меня в одиноком иступлении. Бессонница будет шептать мне на ухо о тоннелях метро, плацкартных вагонах, о поросших безымянных курганах, крестах, эпитафиях, надгробиях. Сонная бесконечная литургия, толерантная к нежности и любви.

*Асфальт умыт голодным октябрём, сгребает в кучи красные листья,
А мы с тобою смотрим в унисон на осени безмолвные холсты.
Садимся молча в старенький трамвай с согласием блуждать
кругами ада
И не боимся больше наготы промокнутого до нитки Ленинграда...*

⁴³ Без комментариев (англ.).

Я все глубже и глубже погружаюсь в беспросветную хмарь. Мое ли это желание? Мне кажется, я добровольно приняла сей яд (ни кто не принуждал, не неволил) из-за слабости, неустойчивости, самолюбия...

Возвращаюсь к своим ощущениям. С утра все кажется столь утомительно привычным: и медленный распад облаков, и пробуждение рассвета, и отсутствие сил и желаний.

Я бреду в постель. Хочется покоя. Я отключаю мобильный телефон. На столе рядом с моей кроватью (надо только протянуть руку) стопка книг: Вольфрам Флейишауэр, сборник «Поэты Серебряного века», Марина Цветаева, Дэвид Сэлинджер и его «Опрокинутый лес», Анатолий Мариенгоф. Еще мгновение, и отброшу в сторону свой дневник. Протягиваю руку... Одинокий волшебник с глазами, полными печали...»

14

30 ноября

«К сожалению, я не верую во всех известных науке богов.

Мантра для самоубийц

Из казенной благодати да в андеграунд⁴⁴... Как завещали. Стало быть, надо принимать. Должное, хорошее, правильное, неизбежное, единственное верное решение. Диктующее шаг. Идущее в разрез, противоречащее вечной жизни. Наитием. Утешением. Заблуждением успокоивших. Но благодатное избавление. Возможность сохранить себя. Шрамы на теле нашем, ищущие на своем – две светлых полосы на запястьях. От усталости к одному всего усилию, к полному отречению, к крестопризыванию. От червей сомнений и самоедства, от унижения, от участия, от беззакония, от жестокосердия и праведности милосердных, от смирения, от мытарств, от терзания души и плоти, от томления... Я сохраняю себя. Остаюсь собой. Не быть. Не существовать. Не быть имитацией, не уподобляться. Два шрама на запястьях. Всего два... Не помогло...

У меня сегодня ужасное настроение. Кстати, завтра декабрь. Лекарства принимаю исправно – прятать за плинтус не хватает силы воли. Наверное, все. Точка, нет, троеточие».

15

Белесое декабрьское утро. Неприкосновенная синева неба. Снежная вата на карнизах. Скрежет блестящих металлических лопат под окном. Минорный септаккорд. Едва ли можно удержать тишину. Тишина совершенна, когда от нее сходят с ума. Тишина – это дыхание пустоты, анабиоз мысли, предсказуемость бездны...

Утренняя газета Metro на потрескавшейся клеенке, изображение коей лишь отчасти сохранило элементы «поль-сезанновского» натюрморта. Пять полустертых, но, несомненно, зеленых яблок (им ближе «зеленых с кислым привкусом»), при одном только взгляде на которые начинает сводить нижнюю челюсть, персики – три-четыре красно-ярых пятна, расплывшихся по застарелому гляncу, сливы не первой свежести, предсказуемая виноградная лоза, какая-то едва различимая зелень, пятна кофе, рассыпанные песчинки сахара, во множестве – червоточинки, прожженные окурками.

За столом в темно-синем «волосатом» и чудовищно горловитом свитере (подарок родителей), почти как у Серова, сидит молодая поэтесса Вероника Грац (или, как ошибочно напечатано в февральском номере литературного журнала *Sibylla*, Вероника Грау). Газета прочтена, сигареты выкурены еще вчера (шесть обугленных трупиков в пепельнице), кофе заварен, люби-

⁴⁴ Строка из песни группы «Гражданская оборона» «Система».

мая чашка... разбита в дребезги (разумеется). Перед Вероникой стоявший привычным дневник. Сонная летопись, дуалистический портрет, монолог сомнений, многоточие смерти.

«И хорошо, что за окнами уже первый снег, и комковатая слякотная грязь (грязь!) липнет к подошвам прохожих. Я вошла в декабрь, холодный и ясный, без надежд и улыбок. Морозный и предновогодний, застывший на оконном стекле чудотворным узором.

Помятая, истерзанная, молчаливая Вероника. Надо признаться...

Мне по-прежнему так не хватает Тебя, так печалится мое опустошенное сердце, так одиноко бьется в твое отсутствие. Тебя нет и не может быть рядом. Твоя улыбка, твой голос, твоя ладонь нежная и теплая. Ты дышишь афродизиак, и, увы, не касаешься теперь моей руки, и не читаешь мои стихи, как ты умеешь, шепотом, не отрывая взгляда, по губам. Во сне думая о Тебе, я могу улыбаться и с нежностью обнимать тишину. Но... Декабрь принимает нас порознь. Лекарства, много никотина, сладкие мандариновые корки в сахарном сиропе, минус на термометре. Снег над городом, а я неминуемо старею, внутренняя сосредоточенность выступает на коже морщинами. Откровенные талых вод... Я привычно плачу.

*В студеной квартире закрытые ставни, под веками плавится сон,
Огни и гирлянды, на улице праздник в преддверьи моих похорон...*

В декабре мне всегда хочется гулять по центру города, мне хочется крупного пушистого теплого снега, счастливых лиц прохожих, праздничных гирлянд, строгой темнеющей Невы, бесконечного неба, белого Питера. Но не теперь, не сейчас».

Вероника пишет, и воздух, еще наполненный дымом *Dito*, становится легче, и мыслям находится пространство, и декабрь за окном обретает себя.

«Странное дело, но именно наедине с собой и, как правило, в утренние часы так часто приходит едва уловимое и малоосоздаемое ощущение de jani⁴⁵. Мне кажется, будто все это было уже со мной, и я была также несчастна и потеряна. Хочется прикоснуться к целебному камню и обрести равновесие. Мой камень – хризолит. Но нынче, все к чему я ни прикоснусь, возвращает меня в реальность, беспощадную, суровую...

*Ты голос, сотканный из нитей сентября, осенний привкус горькой эжженной умбры,
Пожухлый цвет мозаик бытия, холодный поцелуй без сантиментов в губы.
Рассыпанных терцин едва заметный след, остывший кофе, сонные окурки,
Разбитое стекло и чей-то силуэт, сквозь дым едва ли узнаваемый в переулке
Ты голос спящих мертвым сном берлог, бездомный блюз подземных переходов,
Осенним пряным воздухом глоток, протяжный гул погибших пароходов.
Сквозь сумерки бредущий робкий страх, осиротелая печаль в пустом трамвае,
Холодный поцелуй, застывший на губах, и рябь воды в исчерченном канале...*

Я живу неловкою жизнью, странной меланхолической пустотой, в которой так много утрат и так мало приобретений. Солоноватые на вкус слезы неспешно сбегаят по щекам. Довела...»

Вероника осторожно проводит ладонью по лицу, задумчиво докуривает последнюю живую сигарету, пересиливая неловкую дрожь в пальцах, сминает левой рукой (шрамы выполняют из-под рукава) освободившуюся от содержимого сиреневую пачку. И курение все еще «вредит вашему здоровью», и все еще тлеет погребальный костерок в пепельнице, и мир вокруг никак не хочет стать самим собой.

⁴⁵ «Уже виденное» – психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с конкретным моментом прошлого, а относится к прошлому в общем.

«Слава богу, ничего не знают родители. И к черту сигареты, речь не о них. Кабы все вышло...

*По почте рождественский снег, стихи, поздравленья, подарки,
Едва ли ты слышишь, как вьюга кричит под Горбатым мостом,
Любимый поэт «от тяжелой тоски» застрелился в своей
коммуналке,
А город, совсем запьянев, засыпает под ангела снежным крылом.
Вот так бы уйти в декаданс, не оставив своих фотографий!
В газетах с утра некролог; а алые губы совсем не идут мертвецу,
В газетах с утра некролог; а алые губы совсем не идут мертвецу,
Дрожит твоя тень. Равнодушием пугает глянцевого кафель,
Знакомый художник на Старом Арбате продает твою наготу.
Увы! Под землею нет мест. Где дожждаться февральских
метелей?
На цоколе прожитых жизней ты своей расписалась рукой,
Немного горчит на губах от избытка фруктовых коктейлей,
И пьяная ночь над балконом горит Вифлеемской звездой...*

Мой дневник пухнет с каждым днем, приобретая весьма неопрятный вид, лоснится в уголках, расплывается отдельными строками, и только я остаюсь, как и прежде, во власти сомнений. Медленное угасание свечи, таяние снега, голая ледышка под козырьком... Многочисленные проникновенных выстрелов в упор, гримасы зеркал, и все одно – мысли о Тебе. Так или иначе, я возвращаюсь в одну и ту же точку, в комнату, из которой нет выхода, к теореме, не имеющей решения. Я мечтаю об утешении, хочется спокойного незамысловатого счастья. Я и на это согласна...»

Летаргическое блаженство, никотиновая эссенция возвращает к жизни: «стало быть, надо жить, стало быть, со мной все хорошо... было, есть и будет...»

Что-то смутное мерещилось в будущем, что-то смутное...

Камелопардовая глава

*Душе, единостью чудесной,
Любовь единая дана.
Так в послегрозности небесной
Цветная полоса – одна.*

*Но семь цветов семью огнями
Горят в одной. Любовь одна,
Одна до века, и не нами
Ей семицветность суждена.*
Зинаида Гиппиус

Часть I. Анна смотрит на «Кресты»...

Санкт-Петербург, Россия, лето 2008 года.

1

В раскрытое окно, всего на мгновение придав окружающему миру осмысленности, порхнула крапивница с темными леопардовыми пятнами на кирпично-рыжих выгорелых крыльях. Застыла в воздухе в секундном раздумье и бросилась обратно в оконный проем в какофонию летних душистых и манящих запахов. Удаляющееся движение крыл. Пропала без следа...

Питирим сидит пред мольбертом. В мастерской пахнет смесью жженой сиены, легким ароматом ириса, смородиной, насыщенным петербургским летом. Тополиный пух стелется по полу. На деревянном табурете, накрытом золотистым покрывалом, фарфоровая ваза с изображением нимфы и цветов нарцисса. В вазе темно-зеленые смородиновые листья и цветущий *Caprician Butterfly*⁴⁶, с крупными нежно-фиолетовыми лепестками, вдоль которых вкраплением легли яркие желтые стрелки. Неувядающее совершенство...

Стены в мастерской цвета ван-дик. На паркете в беспорядочном колыханье разложены листы с набросками: рисованные углем тонкие пальцы рук с аккуратно остриженными ногтями, испещренные бесчисленным множеством бороздок крупные мозолистые ладони, высокие скулы, надбровья, прикрытые веки, длинные изящно изогнутые ресницы, выдающийся вперед подбородок, чья-то улыбка, седая прядь, прикрывающая висок, край ушной раковины...

Питирим немного бледен и небрит. Взгляд задумчивый, строгий. Кремовая туманная завесь, жемчуг, перламутровый перелив, пурпурно-фиолетовые цветки, желтые капли, ализариновый крапак... Кисть движется легко и плавно. Движения пальцев скрытые, неуловимы для взгляда и в тоже время просты и бесхитростны. Неаполитанская желтая на палитре, свинцовые белила покрыли горизонт; мятые, загнутые улиткой алюминиевые тюбики с надписью «Oil»⁴⁷ на отливающем серебром тельце разбросаны под ногами в неисчислимом количестве. Тут же вскрытые стеклянные бутылки, наполовину опустошенные, а то и совсем пустые, из которых, однако, резко пахнет даммарными, пихтовыми, смолянистыми лаками, живичным скипидаром, ореховыми и льняными маслами. Они стоят, сгрудившись толпами, с заляпанными

⁴⁶ Имеется ввиду ирис мечелистный «каприсиан баттерфляй» (*Iris ensata Caprician Butterfly*).

⁴⁷ Масло (англ.).

краской бумажными наклейками, иные же, неловко повалившиеся на бок и даже перевернутые вверх дном, неподвижно лежат на полу в переливе солнечных всепроникающих лучей.

По холсту разливается насыщенный полиморфный свет, незаметно накрывая, подобно морской волне, и паркетный пол, и красно-коричневые стены, и, казалось бы, такой далекий и как будто на веки уже недостижимый пожелтый, облупившийся и состарившийся быстрее своих лет потолок.

Красок побольше, больше оранжевых тонов, красных, темно-зеленых оттенков, непременно добавить соковую зелень, зеленый кобальт, растворить прозрачное просторное небо в титановых белилах, создать полноту образов и расточительно сыпать желтый ультрамарин, утопая в его лучах, воссоединяя свой незаконнорожденный эфемерный мир и в тоже время разделяя его незримыми и уже неразрушимыми гранями на отдельные лоскутья.

Небо плывет так тихо, и безбрежие его тонет в огненных лучах солнца. Вся пустота становится многообразием движений и линий, красок и цветов, тепла, запахов, переливов, гармонии и наслаждения. И ты почти бог, взявший небо руками, почувствовавший его силу и бесконечность, твои глаза окунулись в океан форм и образов, ты ощущаешь, как по телу течет жизнь, для тебя нет ничего невозможного, твое дыхание спокойно, и ты упиваешься каждым вздохом. Рождение чуда, сотворенного силой души, – чувство почти необъяснимое, едва уловимое, столь непредсказуемое, божественное. Прозрачный кадмий...

Стало быть, Авиньон... Питирим вспоминал (мнемонистический восторг), как *она* порой (в последнее время *изредка*...) входила в мастерскую, ступая осторожно, отмеряя каждый шаг, приподнимая подол платья, стараясь не задевать кучи использованных тюбиков и прочий хлам, однако выходило это все равно неловко, и зачастую на туфлях, несмотря на предосторожность, все же появлялись пятна краски. Густой прелый воздух комнат приобретал новые оттенки, наполняясь легким дыханием фрезии, гаитянского ветивера, насыщенной *gardenia*⁴⁸, многочисленными скользящими, чарующими и терпкими ароматами. Она медленно склоняла голову набок, улыбаясь краешками губ, слегка приподнимая правую бровь, будто в недоумении и в этом самом, казалось бы, таком простом движении было более всего притягательности, пленявшей и обезоруживающей. Догадывалась ли она об этом, или это была лишь незамысловатая игра мимической мускулатуры? Как, однако, шла ей эта приподнятая бровь... Но более всего помнились ему оттенки ее волос: янтарный перелив в ярких лучах солнца, скипидар, тягучая смола. Кожа рук, длинные пальцы, тонкие запястья с бледными проступающими и напряженными венами, худые плечи, изящный подбородок, слегка хмельной взгляд. Правая половина лба оголена, руки лежат на колене (правая ладонь сверху, пальцы причудливо сплетены), матовый пурпур платья, лоснящийся камелопардовый фон, и стены, и окна, и небо вперемешку без единой надежды на хрустальную синеву...

Бывало и так, что она плакала, очень тихо, без надрыва, без крупных, стремительно скользящих по щекам слез. Просто плакала, как-то по-детски шмыгая раскрасневшимся носом, размазав тушь и, что было куда жалобней и оттого совсем уже невыносимо, упрямо потупив взор куда-то себе под ноги, в пыльный и заляпанный краской паркет. В другой раз он видел, как она застывала на улице в сумеречный час в тягостном напряженно-мучительном раздумье под потоками воды, когда уже нет шансов на спасение в темном суживающем талию и расходящемся к земле пальто и старомодной шляпке, порою даже с неопределенного цвета зонтом. И этот ее силуэт можно было лишь угадать в разводах дождя, где смешивались в пятна огни мчащихся автомобилей, рекламные щиты и мокрые блики, виндзорская синька и затупшеванный желтый кадмий.

⁴⁸ Гардения (лат.) – род тропических растений семейства Мареновые. Род назван в честь Александра Гардена (1730—1791), американского натуралиста и врача шотландского происхождения.

В другой раз, подперев голову рукой, по которой стекали огненные пряди волос, она смотрела куда-то против своего созерцателя, и что-то очень таинственное и непринужденное играло на лице, совсем лишенном улыбки. Или же нервно ломала руки, скрестив их в замок, и кривила губы, и на шее искрилось ожерелье с турмалином, а фон был приглушен, задымлен, поистерт наждаком, но сохранял свой таинственный желто-коричневый отблеск. Да, укоризненный взгляд...

Летом в легком белоснежном платье она выходила на иссиня-зеленый луг, где травы были высоки, и цвел молочай, и ветер слегка сбивал волосы, и упрямая прядь их все время норовила дотянуться до самой щеки, а вокруг было тихо и покойно. Вырица, Парголово, Выборг, парк Монрепо... И только лишь было слышно пение цикад, стрекотание кузнечиков, по палитре ползал изумрудобрюхий до неприличия любознательный и несговорчивый жук, а рядом в воде поспешно блуждали из стороны в сторону беспокойные водомерки, поскрипывал сухой камыш.

Вечера наступали, покрывая горизонт закатными бушующими волнами, в коих сливались воедино английская красная, охра и розовато-фиолетовый краплек.

Зимой все становилось иным. Снежные неповоротливые глыбы, морозный пар вдоль улиц, заваленные ватой дворики, горбатые снеговики, не сбитые слюдяные, словно отлитые, сосульки, куполообразные крыши, оледенелые каналы, и она... Горящие румянцем щеки, меховой воротник, темные пряди волос, заканчивающиеся извитыми кольцами, и теплый нежный взгляд, а зимою в глазах непременно бирюза. В инеевых инсталляциях январских и февральских выюг она казалась ему особенно романтической, загадочной, ожидающей чуда...

Питирим думал о том, что ей стоило побывать в Венеции на *Piazza San Marco*⁴⁹, хотелось изобразить ее на *La Piazza del Campo*⁵⁰ в Сиене, где она бывала в праздник Палио⁵¹, или перед *Duomo di Siena*⁵² нежно улыбающуюся в легком летнем платье с букетом оранжево-розовых флоксов.

А затем он мысленно возвращался в Петербург, где всегда предчувствуешь осень, и видел ее под листопадом в рыжих тонах смотрящей вовсе не под ноги, где слякотно и деревья опрокинуты в неподвижных мертвенно-холодных лужах, а устремившей взор куда-то вверх чужих голов с задором и уверенным, даже нахальным блеском в глазах, в скучном сером пальто и широкополом борсалино, а позади вдоль скамеек и смазанных аллей цвета луковичной шелухи тянет гарью и жгут листья... Пепельный дым костров.

Кто бы угадал ее, когда она в руках держала театральную программку, стоя у самой сцены в час антракта в темном вечернем платье на фоне царской ложи в буйстве красного бархата, позолоты и света зажженных исполинских люстр. Влюбленный приковывающий взгляд, неловко согнутое запястье, элегантный золотой браслет с фианитами, и где-то с краю едва обозначенная тень горделивого кавалера. Да, она могла быть влюблена, чаще упорно скрывая это, не сознавая в том беззаботно смеющимся подругам, заигрывающим с кем-то в стороне; она сосредоточенно молчала, находясь чуть поодаль от кокетливых улыбок в изумительно притворной грусти наедине со своим чувством... Его же все время скрывала магическая завеса, из-под которой только и могла показаться рука, черный лацкан пиджака или даже профиль, но непременно под углом, неуклонно стремящимся к своему сокращению.

⁴⁹ Piazza San Marco (итал.) – площадь Святого Марка в Венеции.

⁵⁰ La Piazza del Campo (итал.) – Площадь дель Кампо в Сиене.

⁵¹ В Италии в провинции Тоскана, в городке Сиене ежегодно 2 июля и 16 августа проводится праздник Палио, на который собирается множество любителей скачек. В переводе Палио означает «приз, трофей». Праздник Палио не имеет аналогов во всем мире, это одновременно и праздник, и азартное развлечение. А главное действующее лицо здесь лошадь. Согласно правилам, десять участников стартуют с городской площади Пьяцца-дель-Кампо, и каждый из них трижды должен обогнуть площадь.

⁵² Сиенский собор (итал.).

Звучащая музыка была томительно нежна и обладала сакральным свойством. Питирим всегда слышал музыку, когда писал, мелодия создавала необходимое настроение, вела *продолжение руки* – кисть или отточенное лезвие мастихина (скальпель художника). И чаще всего сопровождением служили «*The Nightingale*⁵³», или «*Spark*⁵⁴» в исполнении обворожительной рыжеволосой *Tori Amos*⁵⁵.

И она, слегка опустив веки, плыла, зачарованная, не стесняясь своего психоделического упоения, наслаждаясь окружающим ее волшебством и... или просто все вокруг плыло безмятежно, не сознавая границ, не подчиняясь законам гравитации, и только она оставалась по-прежнему неподвижна...

2

Как-то в непогожий летний вечер они сидели с Алей в кафе за небольшим столиком прямо перед окном, по стеклу которого ползли струйки дождя, и прохожие проплывали мимо, как рыбы в аквариуме, махая на ходу, будто плавниками, своими обширными распахнутыми зонтами. Питирим и Аля пили не по погоде охлажденный подкисленный каркаде и рассматривали друг друга с пристальным нескрываемым интересом, словно это была их первая встреча. В тот день они виделись в последний раз перед Алиным отъездом... Говорили мало, всего более хотелось молчать, каждый боялся нарушить тишину неловкой банальностью, к чему все эти «*звони, пиши, не забывай, еще свидимся*»... Аля уезжала в Авиньон. Его любимая художница Альбина Великодная покидала Петербург, вместе с тем покидая его самого, выходя из его жизни, неизбежно выпадая из знакомого калейдоскопа лиц и имен. *Альбина...*

Аля сидела напротив, склонив правую щеку на ладонь, смотрела с прищуром, по обыкновению приподнимая бровь, темные длинные волосы привычно оголяли правую половину лба, она добродушно улыбалась, а свет абажура падал наискосок, освещая ее лишь отчасти. Их разделяла тень. Играла приглушенная монотонная музыка.

Питирим неспешно пил каркаде, осторожно помешивая ложечкой темно-красные цветки гибискуса на дне чашки, периодически смотрел в окно (лишь для того, чтобы взять такую необходимую паузу) и вновь возвращал свой взгляд к Але, всматриваясь в нее с каким-то трагическим отчаянием. *Отчаяние...* Он так часто писал ее портреты, она так много раз позировала ему в мастерской и на пленэре, казалось бы, он знал ее лицо досконально, изучил все оттенки ее глаз, все свойства ее волос и кожи. Но теперь он смотрел на нее совсем по-другому, близость расставания обострила чувства. Ее лицо принимало новые, доселе незнакомые ему черты, он жадно вглядывался в нее, пытаясь навсегда уберечь в своей памяти ее образ. Сохранить нетленным, пронести через всю (*почему бы нет?*) жизнь... Возможно ли?

Странное ощущение любви и тепла овладело Питиримом. Для него это было непривычно, и оттого наравне с грустью он испытывал радость. Интересно, испытывала ли она что-то подобное. По Альбине всегда было сложно угадать ее истинное настроение, наверно, потому Питириму так нравилось писать именно ее, в ней всегда была загадка, что-то манящее, одухотворяющее, магическое, женственное.

Она была талантлива, на ее картинах жизнь обретала смысл, люди были непохожи на себя, она открывала их по-новому, находя порой совсем неожиданные решения. Более всего из ее последних работ он любил «*Jeune fille*⁵⁶», на этой картине была изображена девушка в эле-

⁵³ Соловей (англ.) – песня «The Nightingale» (Julee Cruise) звучит в фильме «Твин Пикс».

⁵⁴ Искра, вспышка (англ.).

⁵⁵ Тори Эймос (урождённая Мура Ellen Amos, родилась 22 августа 1963 года) – американская певица, пианистка, композитор и автор песен.

⁵⁶ Девушка, девица (фр.).

гантном черном вечернем платье с бледным лицом, накрашенными губами цвета *berry luxe*⁵⁷, с выбритыми висками и умопомрачительным фиолетовым ирокезом... Аля часто говорила, что «*прическа как состояние души*». Когда она пребывала в плохом настроении, она собирала волосы в деревенский пучок, на серьезные мероприятия и художественные выставки делала конский хвост, когда была радостна и беззаботна, распускала густые темные пряди, во время рабочих поездок на этюды (особенно любила Коктебель) стриглась под мальчика и надевала забавную золотисто-коричневую кепку, декорированную принтом.

В тот вечер Питирим старался быть серьезным, Аля же, как ему казалось, была напряжена, но пыталась это скрыть, улыбаясь чаще обычного.

– Ты само совершенство, Аля, – произнес Питирим, пряча взгляд в чашу с недопитым каркаде, – когда ты уедешь, мне будет тебя не хватать, очень сильно не хватать...

– Жаль, что в тебе, Пит, сейчас говорит не мужчина, а только художник. Увы, но я не так хороша на самом деле, как на твоих картинах. Не принимай это как лесть, ты и правда хороший художник, по крайней мере, лучший из тех, кто мне известен, не в пример мне талантлив. И... – за этим последовала пауза, – я тоже буду скучать по тебе. Ты отличный друг, самый лучший друг.

Он пристально смотрел в ее глаза, и она тоже видела себя в его зрачках.

Альбина... Он знал ее уже около семи лет. Он многому научил ее в живописи, и за последние несколько лет именно она стала для него самым близким существом здесь, в Питере. При этом они оставались только друзьями, твердо следуя негласно установленным правилам, не нарушая дружеской идиллии созданных между ними отношений. Теперь ей было двадцать шесть, и она уезжала в Авиньон со своим женихом. Прованс... У нее были грандиозные планы, она уже продумала, что и как будет писать в Авиньоне, узнала обо всех достопримечательностях города и ждала отъезда с нетерпением. Со странным, отчего-то раздражавшим его нетерпением. Питирим понимал, что теряет ее окончательно, не в силах что-либо изменить...

Здесь, сидя в кафе, зная о том, что завтра Аля улетает, он почему-то вспомнил недавно сказанные ею слова: «Ты знаешь, по правде говоря, я ведь его совсем не люблю, просто мне с ним комфортно и мне важно знать, что рядом есть человек, который меня хоть немного ценит и на которого можно положиться. Кроме всего, я устала быть одна. Просто устала...» Наверное, это было сгоряча, но в том была истина. И Пит, и Аля хорошо понимали это. Больше они никогда не возвращались к тому разговору, не обсуждали эту тему, избегали упоминания о...

Последнее время она была замкнута, холодна и задумчива, а каждый день, приближавший ее отъезд, отдалял их друг от друга. Похоже, Альбина жалела о той беседе. Теперь она была занята своими хлопотами, а он все чаще уезжал за город, на природу, забираясь в лесную непролазную глушь, писал болотные топи, мшистые морошковые поляны, дряхлые сгнившие пни, буреломы, седые сгорбившиеся ели, мертвый лес...

Питирим взял ее за руку, ощутил тепло ладони, пульс выдал волнение.

– Мне хочется, чтобы там, во Франции, у тебя все получилось и ты была счастлива.

– Так и будет, Пит, у меня просто нет другого выбора, – засмеявшись, отвечала Альбина и вновь стала грустна, но не отвела взгляда и не сумела скрыть своей печали.

Они простились на улице, стоя под одним на двоих зонтом. Пит заметил, как увлажнились Альбиныны глаза и нервно задергался краешек губ. Одной рукой он держал зонт, по которому барабанили капли все не утихавшего дождя, другой нежно обнял ее и проговорил на ухо: «Береги себя». В это мгновение он более всего почувствовал ее близость, ощутил запах ее волос, и ему упрямо не хотелось верить, что больше он не увидит этой потрясающей девушки. «Будь счастлив, Пит», – как-то неожиданно отчеканила совсем обмякшая под его рукой Аля

⁵⁷ Золотая слива (англ.) – имеется ввиду тон помады.

и, поцеловав его в щеку, бросилась в маршрутку, оставив его под зонтом, который он почему-то опустил вниз, неосторожно предоставив себя потокам воды.

Громко хлопнула дверь. Маршрутка тронулась с места. В остановившемся на перекрестке трамвае чему-то улыбалась молодая девушка-водитель в яркой оранжевой униформе. Опомнившись, Питирим поднял зонт, но по волосам и лицу уже стекали струйки воды, норовя угодить за шиворот. На улице горели фонари. С визгом мимо по дороге проносился мотоцикл. Люди прятались под козырьком остановки. Клокотал проливной дождь...

3

«Анна смотрит на «Кресты»⁵⁸... Рельеф студенистых пухнувших июньских облаков плывет. Клочки неба свинцовы. Натяжной потолок Питера непроницаем. Речная гладь кажется застывшей. Имитация волн, играющие лучи солнца, странники неба все остановилось. Или просто все вокруг кажется, и все пребывает только внутри тебя. Itmapens. Пребывает и подчиняется твоим тревогам, волнениям, чаяниям и надеждам; и все так непросто. И неискраема тоска.

Игра безразличия. Очевидность небытия. Санкт-Петербург в непостоянстве, невероятности и безумстве граней. Белые купола церкви Святого Александра Невского...

По дороге проносятся несколько автомобилей с бело-голубыми флагами Nevsky Front⁵⁹. А между тем... Я смотрю на Анну. Мои глаза скрыты от мира темными стеклами солнцезащитных очков. И я не различаю цветов, а только лишь догадываюсь об их происхождении, стараюсь угадать тот или иной оттенок, испробовать его способности, убеждая себя в отсутствии границ перевоплощения. Итак, я смотрю на Анну, и за стеклами очков не видно, что наши взгляды похожи. И между нами все те же – чуть меньше пятидесяти лет и комаровский некрополь, где я была как-то в осенний желточно-пурпурный день с кленовыми листьями под ногами и запомнившимся ощущением приближения чего-то непоправимого.

К сожалению, меня никто не написал в изумительном фиолетовом платье, нога на ногу, с выступающими ключицами, с горбинкой на носу⁶⁰. И я совершенно иная, скорбноликая Вероника Грац. Сегодня на мне яркое красное летнее платье. «Lady in red»⁶¹ как подумалось еще дома в прихожей, где я напротив зеркала сосредоточенно разглядывала себя в профиль и анфас, неумоимо ища изъяны.

Я дышу глубоко, наполняя легкие приятным прохладным воздухом, напоенным речной пенной влагой. При этом я чувствую, как у меня слегка першит в горле, а распущенные волосы приподнимает ветром. В моих руках скромный букетик гвоздик. Его я оставлю здесь для нее...

На Неве ходят нежные волны. Я дышу свежестью, но на глаза отчего-то так и наворачиваются слезы, мне кажется, достаточно одной неосторожной мысли, одного только воспоминания, знакомого запаха, звука, и я разрыдаюсь. Тем не менее, я думаю о произошедшем со мной. В голове проносятся события, странные, казалось бы, столь незначительные детали, сказанные когда-то мною и им слова.

Я кладу цветы на гранит и тоже, как бы невольно, оглядываюсь, по своей прихоти превращаясь в соляной столп⁶².

⁵⁸ Памятник Анне Ахматовой между домами 14 и 12 на набережной Робеспьера, установленный в 2006 году. Место и время его открытия были выбраны неслучайно. Так, место для него напротив печально известного здания тюрьмы «Кресты», где в годы сталинских репрессий находился Лев Гумилев, сын Ахматовой, указала сама поэтесса в поэме «Реквием»: «Здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов».

⁵⁹ Невский фронт (англ.) – фан-движение футбольного клуба «Зенит».

⁶⁰ Имеется ввиду портрет Ахматовой кисти Альмана Натана Исаевича (1889–1970).

⁶¹ Леди в красном (англ.) – одноименная песня Криса де Бурга.

⁶² Авторами памятника Анне Ахматовой в Санкт-Петербурге являются архитектор Владимир Реппо и скульптор Галина

На набережной громкоголосая толпа людей. Молодожены фотографируются у сфинксов (я смеюсь над людской глупостью). Сейчас поедут на Поцелуев мост замки вешать. Ну да бог с ними...

Я иду по абсолютно пустой Шпалерной чересчур медленным шагом. Дохожу до водонапорной башни, где красивые высокие темные ели. Мне нравится их неподвижная грациозность, и я снимаю очки, щурюсь питерскому солнцу. Кому-то может показаться, что я улыбаюсь. Но причин улыбаться нет, хотя... Я ловлю себя на мысли, что последнее время я смеюсь и... скалю зубы только своим очередным неудачам и разочарованиям, и еще, наверное, чаще всего – своему прошлому, которое никак не вытесняется из памяти, а наоборот, пронизывает меня, неожиданно всплывая на поверхность, подобно поднимающемуся илу со дна топких болот. Мучительные воспоминания либо не позволяют состариться (у меня не вышло), либо старят быстрее, чем следует. Мой удел...

Сегодня солнечный день. А в Москве, если верить погодной хронике, смог.

Анна оглядывается с отчаянием, скорбью меж сфинксов, хранящих свои сотканые из петербургских снов тайны...

*И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли⁶³*

А все же, куда оглядываюсь я? Брожу по городу в одиночестве в попытке обрести душевное равновесие, успокоиться, смириться с тем, что не может быть переиграно. Тем не менее во мне гложущая бездна, на дне которой рыдающий плач, клотание бушующих потоков. И у меня, увы, ничего не получается.

Вечереет. Я чувствую, как начинают зябнуть руки (на запястьях едва заметно белеют ишрамы), и, кроме того, я устала, мне хочется домой, в постель, под одеяло, где так легко уйти от всего мира.

Я ухожу под землю. В вагоне метрополитена надо мной работает раздражающий вентилятор. Я стою в углу у двери, так как все сидячие места заняты. Повсюду безнадежно-печальные, сосредоточенные лица. Иконы скорби. Я ощущаю, как усталость одолевает меня, опрокидываю тяжелеющую голову на бок и касаюсь правой половиной лба стекла, где написано: «Do not lean on door»⁶⁴; и предо мной проносятся темные тоннельные стены, провода, трубы, искаженные лица зеркал... Боковым зрением – напротив или даже чуть левее целуется влюбленная пара, она и он что-то говорят друг другу шепотом на ухо, крепко прижимаясь друг к другу, путаясь в волосах. У меня отчего-то сводит скулы...

Я прихожу домой под вечер, утомленная своей пешей прогулкой и своей неразрушимой печалью. И сумерки бредут за мной следом, сползая ниже и ниже к земле. Темнеет асфальт.

Подходя к подъезду, я вижу машину скорой помощи с ходящими в сторону бледными огнями. На носилках из дверей выносят пожилого мужчину в темной рубашке, расстегнутой на груди, с закатанным правым рукавом, в синих спортивных штанах. На правой руке манжета, левую руку он прижимает к волосатой груди и хрипло охает... Я прохожу мимо, стараясь не вслушиваться в слова фельдшеров, и, уже заходя в подъезд, слегка вздрагиваю – громко захлопывается дверь скорой. Поднимаюсь в омерзительно пахнущем лифте. Открываю дверь квартиры, откуда веет пустотой. Когда я захожу в коридор во тьме, несколько

Додонова. «Я многое взяла из мифологии и поэзии. В фигуре Ахматовой заключены и жена Лота, оглянувшаяся и застывшая, как соляной столп, и Изида, идущая по Нилу в поисках тел мужа и сына. Я много читала ахматовскую поэзию – ее героини тоже нашли свое отражение. Во всем этом я вижу очень много параллелей с биографией Анны Андреевны», – так описала свой замысел скульптор.

⁶³ А. Ахматова. Фрагмент из «Реквиема».

⁶⁴ Не прислоняйтесь к двери (англ.).

не пытаюсь зажечь свет, я уже плачу навзрыд, не разуваясь, почти бегу в постель, на ходу неловкими движениями рук размазывая тушь по лицу...»

4

В конце июля, когда в Петербурге властвовала невыносимая жара и в воздухе стояла гарь, исходящая от горящих торфяников и лесов, Аля прислала Питириму письмо по электронной почте.

«Salut⁶⁵, Пит!!!

Рада Тебе до безумия! Протягиваю руку, шлю воздушный поцелуй...

Это мое первое письмо в Санкт-Петербург из ласкового авиньонского лета, моего первого лета во Франции. Открываю свой эпистолярый!

Во-первых, каким бы странным это ни казалось, не люблю писем! Просто ума не приложу, что в них вообще пишут! Не знаю, как, собственно, начать. Может так: «Милостивый государь...» Шучу, разумеется. Просто мне ни кто и никогда писем не писал (может, хоть Ты будешь...). SMS еще куда ни шло: привет, пока, о'кей, с ДР, чмоки, смайл... Ну что ж, буду практиковаться.

*Вообще, я очень соскучилась, Пит. Мне кажется, наравне с тем восторгом, который я изо дня в день испытываю, находясь здесь, я начинаю тосковать по друзьям, оставшимся в России. Более всего мне не хватает Тебя! Как же хочется услышать твой голос, увидеть Тебя воочию, поделиться последними новостями. Из всех моих друзей Ты лучше всех умеешь слушать, не делать вид, что интересно, а действительно слушать. В разговоре с Тобой я всегда ощущала такую необходимую поддержку, доверие, искренность, чистоту. Извини за *santimenty*⁶⁶, я правда скучаю...*

Последнее время у меня просто масса впечатлений, мне самой подчас сложно в них разобраться. Поэтому мне очень захотелось кому-нибудь написать и прежде всего Тебе.

*Это потрясающе: я сейчас сижу в плетеном кресле перед ноутбуком за небольшим столиком в летнем кафе в тени платанов на прохладе, которой веет с Роны, неспешно пью *kir royal**

⁶⁵ Привет (фр.).

⁶⁶ Сентиментальность, чувство, излишняя чувствительность (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.